

автор М. Веллер

Легенды "САЙГОНА"



Annotation

Крематорий, Танец с саблями, Легенда о соцреалисте, Американист, Легенда о морском параде, Лаокоон, Баллада о знамени, Маузер Папанина, Легенда о теплоходе «Вера Артюхова» — девять рассказов Михаила Веллера серии "Легенды Сайгона", которые вошли в сборник "Легенды Невского проспекта" (1993).

- [Михаил Веллер](#)
 - [Крематорий](#)
 -
 - [Танец с саблями](#)
 - [Легенда о соцреалисте](#)
 - [Американист](#)
 - [Легенда о морском параде](#)
 - [Лаокоон](#)
 - [Баллада о знамени](#)
 - [Маузер Папанина](#)
 - [Легенда о теплоходе «Вера Артюхова»](#)
 - [1. Черный бизнес](#)
 - [2. На халяву и уксус сладкий](#)
 - [3. Пусть неудачник платит](#)
 - [4. Где знают двое — там знает и свинья](#)
 - [5. Скорая медицинская помощь](#)
 - [6. Концы в воду](#)
 - [7. Не все то лебедь, что торчит из воды](#)
 - [8. Это прачечная? — Фуячечная!](#)
 - [9. Любовь требует жертв](#)
 - [10. Не мешкай у цели: иди куда шел](#)
 - [11. Псих](#)
 - [12. Карьера праведника](#)
 -
-

Михаил Веллер
Легенды «Сайгона»

Крематорий

В хрущевскую эпоху улучшения жилищных условий населения в Ленинграде решили построить крематорий. Провели открытый конкурс проектов, и победил немецкий проект. То ли сказалось низкопоклонство перед заграницей, то ли у немцев большой опыт в строительстве крематориев. А вернее всего, что отцы города воспользовались возможностью съездить за казенный счет в Германию — для обмена опытом по данному вопросу и получить взятки в дойчмарках.

Отгрохали — праздник для глаз. Газоны зеленые, корпуса белые, труба квадратная — последнее слово современного архитектурного дизайна. Произнесли речи о пользе международного сотрудничества и заботе партии о народе, разрезали под аплодисменты красную ленточку — торжественно пустили в эксплуатацию еще один объект семилетки.

Но сам собой покойник ведь в трубу не вылетит. Надо набрать соответствующий персонал.

А это оказалось отнюдь не просто. Смерть — дело житейское, так что хороших кладбищ на всех тоже не хватало. Обычный же могильщик — он вполне соответствует беспечному пьянице из Шекспира, минус поправка на британскую цивилизованность. Он мелкий вымогатель со следами дружеского мордобоя на лице, всем обликом напоминающий, что надо дать ему на водку. И погребальной торжественности на нем видно не больше, чем на еже — гагачьего пуха. Напротив: замызганным ватником и лопатой в мозолистых руках он как бы обвиняет клиентов, что он — пролетарий за работой, а они — нарядно одетые бездельники, эксплуатирующие его труд. Это создает у посетителей чувство классовой неполноценности и потребность откупиться от справедливой неприязни пролетария могилы. Что последнему и требуется.

Для крематория было приказано набрать приличных молодых людей, желательно со специальным образованием. Управление коммунального хозяйства интересуется — это ж какое такое специальное образование? вы что имеете в виду — духовную

семинарию? Отвечают: без дурацких намеков! ну... психологический факультет университета, например... или Институт культуры имени Крупской — это имя, вроде, обязывает знать, как приличных людей хоронят; на худой конец — культпросветучилище, что ли.

Примечательно, что сразу вслед за этим указанием в Университете был открыт психологический факультет.

Ну что. Набрали молодых и интеллигентной внешности юношей и девушек. Положили им зарплату с надбавкой за вредность. В кочегары взяли имеющих свидетельство на право работы в котельных с жидким топливом — все бывших инженеров и учителей.

В Ленинградском управлении культуры создали отдел советского обряда. Сочинили тексты прощальных речей — несколько образцов: для заслуженных, для безвременно усопших, по возрастным категориям и социальной значимости. Главлит тексты проверил, отдел культуры Обкома партии утвердил.

И стали принимать население.

И действительно, народ был доволен. Принимают покойников с провожающими — все чистые, трезвые, в черных костюмах, не матерятся. Декламируют церемонию с концертными интонациями. Правда, скорби в персонале маловато. Но, знаете, от них тоже нельзя сплошных рыданий требовать, у них работа... скорбь представляет посещающая сторона.

И мзду ведь не принимают, вот что. Ну совершенно в лапу не берут; это у них — ни-ни.

Но мы не только о грустном, мы и о веселом. У одной престарелой четы случилось огромное и радостное волнение — они выиграла в лотерею автомобиль «Москвич». Они позвали родственников и отпраздновали это событие. До этого у них, у пенсионеров, и велосипеда-то не было.

Радость, как в жизни часто случается, пришла слишком поздно. Потому что муж выпил водки, пошел с гостями песен, показал всем выигрышный билет, и ночью умер.

С этим государством не надо играть в азартные игры.

Таким образом жена осталась наследной вдовой. Естественно, ей хотелось сделать для усопшего мужа все, что она еще могла. И она решила его в торжественной и скорбной обстановке кремировать.

Она сняла с книжки все их небольшие деньги, всем заплатила, везде договорилась, одела его в единственный новый костюм, в котором он вчера буквально пел за столом... И в крематории над ним произнесли печальное и высокое прощание. И тело в гробу бесшумно опустилось вниз, в преисподнюю, чтобы, пройдя бушующий очистительный огонь, вознестись с прозрачным дымом к голубым небесам.

А после скромных поминок дома, поплакав, она поставила на видное место его фотографию и стала мыть пол, протирать пыль и наводить везде порядок... Так и не успели мы, милый, поехать с тобой в собственном автомобиле. Ушел ты, и зачем теперь мне одной обеспеченная старость.

Кстати об автомобиле. Где лотерейный билет. Она лезет в коробку с документами, но там его нет. В сумочке тоже нет. И в его бумажнике нет. В тумбочке нет, в книгах нет. Нигде нет билета!

Вдова вытирает холодный пот и начинает перерывать весь дом. Все уже летит вверх дном: нету выигрышного билета!!!

На ее горестные крики и стоны прибегают соседи сверху и снизу, кто с валерьянкой, кто с валидолом и прочими успокоительными средствами: как убивается... несчастная! Ой, да куда же ты подевался! голосит вдова, да еще недавно рученьки мои тебя держали, пальчики мои тебя гладили, глазоньки мои насмотреться не могли!.. Душераздирающие тексты.

Они ее отпаивают лекарствами, сбрызгивают водой, обмахивают полотенцами, и она рассказывает им сквозь всхлипы свою трагедию. И все ахают и сокрушаются: не может быть!.. он еще найдется!..

Вдова обзванивает всех знакомых и родственников, которые заходили в дом на праздник и поминки: простите... вы случайно с собой лотерейный билет не прихватили? Пропал...

Одни жутко сочувствуют, другие немного обижаются, но никто, естественно, не признается. Вы что, говорят, нас подозреваете?

Она заявляет в милицию: так и так, пропал лотерейный билет с выигранным автомобилем «Москвич». Нет, никого не подозреваю, но могу перечислить всех, кто мог его взять.

Милиция составляет список ее друзей и родни и начинает трясти по одному: вызывает для снятия свидетельских показаний. Все, конечно, отрицают наотрез: не брали, и все тут.

Таким образом несчастная вдова оказывается без выигрыша, без друзей и без родственников, потому что они унижены и оскорблены: понятно, у вас горе, вы не в себе, но есть же границы... у нас тоже самолюбие, в конце концов.

А средства у нее к существованию — пенсия пятьдесят рублей. И через пару дней, страшно постарев и похудев, она начинает отбирать мужнины вещи на продажу: пару рубашек поновее, зимние ботинки, пальто... И совершенно невольно думает, что вот за новый костюм, в котором его похоронили, дали бы в комиссионке рублей сто. Вспоминает, как костюм хорошо сидел, как муж пел в нем за столом...

И вдруг с невероятной ясностью ей высвечивает, как муж дает всем по кругу посмотреть лотерейный билет и после аккуратно удвигает его в нагрудный карман пиджака! А перед сном — перед вечным сном!.. — повесил пиджак в шкаф. И больше билет она не видела. И карман этот не проверяла — в нем ведь обычно никогда ничего не было.

Задыхаясь от непоправимости случившегося, она впервые за десять лет хватается за такси и мчится в крематорий. И там ей выдают урну с прахом.

Она обливает прах немymi слезами и везет домой. Ставит урну на стол и бесконечно на нее смотрит; шепчет и трясет головой.

А назавтра везет собранные вещи в комиссионку. Высидев очередь на стульях, сдает все на ничтожную сумму. И, сдав, как все женщины, независимо от возраста, положения и семейных обстоятельств, идет побродить по этому магазину. Поглазеть на тряпки...

Ну, Апраксин Двор большой, барахла много. Из женских залов она переходит в мужские, мечтает, сколько хороших вещей они могли бы купить, если бы не устраивали никакого праздника с выпивкой, а получили выигрыш деньгами... а лучше — взяли машину, и продали ее — это тысячи на полторы-две дороже! И свитера теплые, и туфли чешские, и костюмы красивые... интересно, сколько все-таки наш костюм мог тут стоять? А вот как раз похожий висит...

Смотрит она этот черный костюм... похож, только наш был поновее... девяносто рублей. Погодите... ощупывает. Нет, ну точно такой!.. Смотрит брюки: она их сама подкорачивала, и ленточки

перешивала... ее ленточки! ее строчка! Пиджак: пуговицы она пришивала и укрепляла накрест! Господи...

Дрожащими руками она надевает очки и читает бирку. Костюм сдан на комиссию в следующий день после похорон.

Не веря себе и происходящему, она запускает руку в нагрудный карман пиджака и вынимает оттуда лотерейный билет.

Номер она наизусть хорошо помнит. Этот номер.

Продавщица спрашивает:

— Бабушка, вам плохо?

Да сердце что-то... Можно ли посидеть где тут.

Посидела она, отдышалась, упрятала билет в ридикюль поглубже. Глаза бессмысленные, на щеках румянец выступил, и улыбка плавает странная... отвлеченная такая улыбка.

С одной стороны, ей бы теперь с этим билетом бежать подальше от магазина — на всякий случай. С другой стороны, соображение к ней медленно возвращается, и она пытается уложить в голове, как же здесь костюм оказался. И это она у продавщицы спрашивает.

Продавщица пожимает плечами — этим занимается приемка, нас не касается; а что? А то, что это костюм моего покойного мужа, в котором его как раз за день до приемки костюма похоронили.

Кого? В чем? За день до чего? Посетители с интересом прислушиваются, остановились. Продавщица меняется в лице и быстро уводит бабушку в подсобку. Наливает ей воды, сажает на стул и звонит в приемку: поднимитесь сюда быстро, быстренько!

Заходит заведующий приемкой: золотые часы, итальянские туфли, английский костюм. Бабушка повторяет: как это может быть? Он ей: невозможно, вы спутали. Костюм советский, импортный? Вот видите: «Ленодежда», расхожий стандарт, да их тысячи таких. Она: ленточки! пуговицы! Хорошо, предлагает, пройдемте посмотрим вместе.

Смотрят: нет этого костюма. Сотня висит, а этого нет. Видите, говорит заведующий, вам показалось. Вот черный, и вот, и вот... ну? Не этот? Я понимаю, вы в потрясении, такое горе, и вам почудилось... это бывает.

Старушка белеет и пошатывается: понимает, что это был сон наяву, желанный сон... Она лезет в ридикюль — и видит, что лотерейный билет исправно лежит на месте!

В полном ошзении, прижимая драгоценный ридикюль к груди двумя руками, чудом не попав под машину, она прибредает домой. Закрывает дверь на все запоры. Проверяет задвижки форточек и задергивает шторы. Думает, прячет урну с прахом в тумбочку и закрывает на ключ. И только после этих мер безопасности извлекает из ридикюля сказочный билет, кладет посреди стола и придавливает уголком утюга.

И сутки боится отвести от него глаза, чтобы он не исчез. Колет себя булавкой и звонит по телефону всем подряд — здоровается и, услышав ответ, вешает трубку: боится, что она сошла с ума. Убедиться, значит, что ей не чудится.

Через сутки успокаивается в каком-то равновесии, вспоминает — и звонит в милицию: спасибо, не беспокойтесь, билет нашелся.

Следователь: вот видите! Что ж вы, бабуля, это не шутки — всех взбаламутили! А вам известно, что за ложное заявление полагается ответственность перед законом? Где же вы его нашли?

А в нагрудном кармане костюма мужа.

Ну! Что же вы — раньше посмотреть не могли?!

Да как же я могла, он был в магазине.

В каком магазине?

В комиссионном.

Хорошую бы покупочку кто-то совершил, а! Как же вы так невнимательны, сдавая вещи, даже карманы не проверили?

Да я его и не сдавала.

Как? А кто сдавал?

Да я и не знаю.

То есть как?

Да его в этом костюме похоронили.

Что? А?..

Вернее, кремировали.

Подождите, подождите... что-то я не понимаю! А билет кто в карман положил?

Да он сам и положил.

Так, ясно: тронулась бабка с двойного горя. Но у следователя свой интерес: дело закрыть. Приезжайте, говорит, забрать ваше заявление.

Она приезжает: показывает билет, хихикает и плачет. Чудо, рассказывать порывается, Господь явил: билет дал в руки, а костюм

забрал обратно. Следователь начинает невольно заинтересовываться: значит, в комиссионке? В какой? А, Апраксин Двор; знаем такой, знаем... Говорите, висел, а потом из приемки к вам пришли, а потом уже не висел. Так-так; хорошо; возьмите-ка вот этот листок и напишите по порядку все, что с вами в магазине было.

Следователь отправляет практиканта в Апраксин: переписать там все имеющиеся в наличии мужские костюмы, подходящие для похорон — кто и когда сдавал, кто принимал. А сам дует прямо в крематорий.

А там, в рабочем, так сказать, подвальном помещении видит он интереснейшую обстановку. Оплаканные покойники лежат в стеллаже у стенки, готовые предстать перед Вседержителем нашим в таком виде, в каком и явились на сей свет: безо всяких, то есть, суетных подробностей в виде одежд и гробов.

А у стены напротив сложены аккуратно штабели разнообразных гробов и тючки с одеждой. Приготовлены.

Посередине, в проходе, стоит теннисный стол, и обслуживающий персонал играет на нем в пинг-понг. На вылет. Двое играют, остальные курят и пиво пьют, ждут своей очереди.

А надо всем этим кладбищенским покоем, в довершение картины, летает зеленый попугай и лузгает семечки.

Это, значит, интеллигентные крематорщики наладились все, что можно, пускать на продажу. Внедрили свой вариант утилизации вторсырья. В порядке посильной помощи текстильной и деревообрабатывающей промышленности. Закон физики: круговорот вещей в природе.

Потом они мотивировали: больно смотреть, как добро пропадает без всякой пользы — а ведь людям еще понадобится! Вот после этой истории всю первую команду ленинградского крематория и посадили в полном составе.

А комиссионщики, что характерно, отмазались: никакого сговора, никакого краденого, знать ничего не знали, какой ужас!

Да; а ведь хорошее, вспоминают, было качество обслуживания.

Танец с саблями

История советской музыки создавалась на пятом этаже гостиницы «Европейская», в буфете. Это был самый музыкальный буфет в мире. Филармония находится прямо напротив, через улицу, и музыканты неукоснительно забегали в этот буфет до репетиции, после репетиции, а иногда и вместо репетиции. Для большей беглости пальцев и бодрости духа. А также после концерта, перед концертом, и просто так, по привычке. И свои, и заезжие — это было почти как ритуал. Любая буфетчица с «Крыши» знала о музыкантской жизни города больше, чем директор Ленфилармонии или секретарь Союза композиторов. Музыкантов здесь знали, уважали и прощали им многие артистические выходки — творческие натуры... слава города! Здесь не спрашивали, что надо посетителям — их считали по головам и наливали по сто коньяку, если до работы, а если после — то по сто пятьдесят. А сто грамм коньяка стоили в те времена рубль.

А поскольку Ленинград был городом более филармоцентрическим, нежели театроцентрическим, в отличие от Москвы, что давно отмечено, и именно в филармонии собирался свет и происходил бомонд, то все обсуждаемые там истории автоматически становились достоянием Невского и входили в перечень тем, рекомендуемых к беседе меж людьми образованными и не чуждыми искусств.

А Герой Социалистического Труда и лауреат до черта всяких премий Арам Ильич Хачатурян, личный большой друг Мравинского, Рождественского и прочих, был там, на улице Бродского угол Невского, стойка бара от лифта направо, гостем постоянным и музыкальному Ленинграду вполне родным. Он был человек знаменитый, гость желанный, широкая душа, кавказской общительной щедрости — в доску свой от Москвы и Ленинграда до родной Армении, не говоря уже о Франциях и Испаниях, из которых просто не вылезал...

Вот в Испании как-то на гастролях, проходивших с огромным успехом — испанцы вообще народ музыкальный, а музыку темпераментную, огневую, ценить умеют в особенности, — его

устроители и спрашивают: что бы он хотел еще увидеть или получить в Испании, они будут рады сделать великому и замечательному композитору приятное, услужить, одарить, устроить, расстелиться под ноги, не ударить в грязь лицом, и прочие цветастые латинские изъяснения.

Хачатурян, в свою очередь, был в быту человек скромный, достойно несущий свое величие и славу. Принимали его по высшему разряду, и желать он мог только птичьего молока. Но молока он не употреблял, любимым его напитком был, напротив, коньяк «Арарат». Поэтому он развел руками, поблагодарил хозяев, подумал и в порядке ответной любезности на комплименты своему несравненному гению отвечал, что Испания, в которой он имеет честь выступать, является родиной величайшего художника двадцатого века Сальвадора Дали, лидера и славы мировой живописи и его кумира. И никаких таких желаний у него, восхищенного баснословным испанским гостеприимством, нету и быть не может; вот разве только он был бы рад встретиться и познакомиться с мэтром Сальвадором Дали, дабы лично засвидетельствовать ему свое глубочайшее почтение и даже попросить автограф на альбом с репродукциями.

При этом заявлении устроители слегка меняются в лице; переступают с ноги на ногу... Потому что Дали славился непредсказуемой эксцентричностью, и просьба эта вовсе не факт, что выполняема... Более всего она невыполнима по той простой причине, что Дали живет в Америке. В Испанию он изредка наезжает.

Но все устроилось со сказочной быстротой и пугающей легкостью. Заокеанский Дали благосклонно выслушал по телефону пожелание встречи и ответил, что он поклонник великого композитора и почтет за счастье принять его в своем скромном испанском жилище в любое время, какие разговоры. Ради этого счастья он бросит все дела, которых у него, в сущности, и нет, кому он нужен, бедный старый художник, и сейчас же едет в аэропорт и садится в самолет. Скажем, завтра? Допустим, в два часа дня? Если это устроит конгениального композитора Хачатуряна, то он, скромный малевальщик Дали, безвестный неудачник, будет весь остаток своих дней счастлив, совершенно счастлив, что его ничтожная особа может представлять какой-то интерес для такого гиганта и светила мировой музыки.

И потрясенный до потери пульса импресарио передает это приглашение Хачатуряну, с испанским тактом давая понять, что слава Хачатуряна превзошла уже вовсе все мыслимые и немыслимые пределы, если сам мэтр Дали! который способен послать куда подальше любого президента — просто так, под настроение и для скандальной саморекламы! — так высоко ценит Хачатуряна.

И на завтра без трех минут два лимузин правительственного класса привозит Хачатуряна с импресарио, секретарем и переводчицей к воротам белокаменного мавританского замка Дали, с башенками, шпилями, зубцами и флажками. Привратник и охранник в ослепительных ливреях распахивают ворота и сообщают, что хозяин уже ждет, и его пожелание — провести встречу на интимном, семейном, можно сказать, уровне, поэтому переводчик не нужен, ведь у монсеньора Дали жена тоже русская, и машина тоже не нужна, потому что монсеньор Дали распорядился отвезти гостя после встречи обратно на своей машине. Который тут из вас сеньор Хачатурян? Сделайте честь, сеньор, проходите. Нет-нет, остальных принимать не приказано.

Остальные пожимают плечами и не удивляются, потому что все это вполне в духе Дали. Они пожимают Хачатуряну руку, желают хорошо провести время, передают приветы своему великому земляку, и уезжают.

А Хачатуряна сопровождают по мраморной аллее в замок. На крыльце ему отвешивает поклон уже просто какой-то церемониймейстер королевского двора, и Хачатурян начинает сомневаться: правильно ли он одет, может быть, уместнее было бы явиться в смокинге... но его же об этом не предупредили, да и время дневное, встреча неофициальная... да он и сам, в конце концов, великий человек! чего там...

Церемониймейстер приглашает его в роскошный приемный зал — белая лепка, наборный паркет и зеркала, — предлагает садиться и вещает по-испански, что монсеньор Дали сейчас выйдет вот из этой двери. В этот самый миг старинные часы на стене бьют два удара, церемониймейстер кланяется и исчезает, закрыв за собой двери.

И Хачатурян остается в зале один.

Он сидит на каком-то роскошном златотканом диване, не иначе из гарнитуров Луи XV, перед ним мозаичный столик, и на этом столике

изящно расположены армянские коньяки, испанские вина, фрукты и сигары. А в другом углу зала большая золотая клетка, и там ходит и распускает радужный хвост павлин.

Проходит минута, и другая. Зная, что пунктуальность в Испании не принята ни на каком уровне, Хачатурян оживленно осматривается по сторонам, приглаживает волосы и поправляет галстук. Очевидно, жена Дали Гала тоже будет, раз не требуется переводчик. Он заготовливает вступительные фразы и оттачивает тонкие комплименты.

В десять минут третьего он полагает, что, в общем, с секунды на секунду Дали уже зайдет, и прислушивается к шагам.

В четверть третьего садится поудобнее и выбирает сигару из ящичка. Выпускает дым и закидывает ногу на ногу.

В двадцать минут третьего он начинает слегка раздражаться — какого лешего, в самом деле... сам же назначил на два часа! — наливает себе рюмку коньяка и выпивает.

В половине третьего он наливает еще рюмку коньяка и запивает ее бокалом вина. Щиплет виноград!..

Налицо все-таки нарушение этикета. Хамство-с! Что он, мальчик? Он встает, расстегивает пиджак, растягивает узел галстука, сует руки в карманы, и начинает расхаживать по залу. С павлином переглядывается. Дурная птица орет, как ишак!

А часы исправно отзванивают четверти, и в три четверти третьего Хачатуряну эта встреча окончательно перестает нравиться. Он трогает ручку двери, из которой должен выйти Дали — может, церемониймейстер залы перепутал? — но дверь заперта. И Хачатурян решает: ждет до трех — и уходит к черту. Что ж это за безобразие... это уже унижение!

Ровно в три он нервно плюет на сигарный окурочок, хлопает на посошок рюмочку «Ахтамара» и твердо ступает к двери.

Но оказывается, что эта дверь, в которую он входил, тоже не хочет открываться. Хачатурян удивляется, крутит ручку, пожимает плечами. Он пробует по очереди все двери в этом дворцовом покое — и все они заперты!

Он в растерянности и злобе дергает, толкает, — закрыли! Тогда он для улучшения умственной деятельности осаживает еще коньячку,

ругается вслух, плюет павлину на хвост, сдирает галстук и запихивает в карман...

Он ищет звонок или телефон — позвонить камердинеру или кому там. Никаких признаков сигнализации.

Может, с Дали что-нибудь случилось? Может, он не прилетел? Но ведь — пригласили, уверили... Сумасшествие!

А жрать уже, между прочим, охота! Он человек утробистый, эти удовольствия насчет пожрать любит, а время обеденное: причем он специально заранее не ел, чтоб оставить место для обеда с Дали — по всему обед-то должен быть, нет?

Присаживается обратно к столику, выбирает грушу поспелее, апельсином закапывает рубашку, налегает на коньяк и звереет — настраивается на агрессивный лад!

И в половине четвертого начинает ощущать некоторую потребность. Вино, понимаете, коньяк, фрукты... В туалет надобно выйти Араму Ильичу. А двери заперты!!!

Никакие этикетки и правила хорошего тона уже неуместны, он стучит во все двери, сначала застенчиво, а дальше — просто грохочет ногами: никакого ответа. Тогда пытается отворить окна — или покричать, или уж... того... Но стрелчатые замковые окна имеют сплошные рамы, и никак не открываются.

Хачатурян начинает бегать на своих коротких ножках по залу и материться с возрастающим напором. И к четырем часам всякое терпение его иссякает, и он решает для себя — вот ровно в четыре, а там будь что будет! да провались они все!

А на подиуме меж окон стоит какая-то коллекционная ваза, мавританская древность. Красивой формы и изрядной, однако, емкости. И эта ваза все более завладевает его мыслями.

И в четыре он, мелко подпрыгивая и отдуваясь, с мстительным облегчением писает в эту вазу и думает, что жизнь не так уж плоха: замок, вино, павлин... и высота у вазы удобная.

А часы бьют четыре раза, и с последним ударом врубается из скрытых динамиков с оглушительным звоном «Танец с саблями»! Дверь с громом распаивается — и влетает верхом на швабре совершенно голый Дали, маша над головой саблей!

Он гарцует голый на швабре через весь зал, маша своей саблей, к противоположным дверям — они впускают его, и захлопываются!..

И музыка обрывается.

Входит церемониймейстер и объявляет, что аудиенция дана.

И приглашает к выходу.

Остолбеневший Хачатурян судорожно приводит себя в порядок, справляясь с забрызганными брюками. На крыльце ему почтительно вручают роскошный, голландской печати, с золотым обрезом, альбом Дали с трогательной надписью хозяина в память об этой незабываемой встрече.

Сажают в автомобиль и доставляют в отель.

По дороге Хачатурян пришел в себя и хотел выкинуть к черту этот поганый альбом, но подумал и не стал выкидывать.

А там его ждут и наперебой расспрашивают, как прошла встреча двух гигантов. И он им что-то такое плетет о разговорах про искусство, стараясь быть немногословным и не завратиться.

В тот же день полное изложение события появляется в вечерних газетах, причем Дали в простительных тонах отзывается об обыкновении гостя из дикой России использовать в качестве ночных горшков коллекционные вазы стоимостью в сто тысяч долларов и возрастом в шестьсот лет.

Так или иначе, но больше Хачатурян в Испанию не ездил.

Легенда о соцреалисте

Советский писатель — это, я вам доложу, продукт особенный. Если специалист подобен флюсу, то специалиста столь характерного, как именно советский писатель, трудно даже уподобить какой-либо цензурной части тела.

Фокус в том, что когда совписатель становится профессионалом, он втягивается в жизнь столь специфическую, что скоро абсолютно теряет представление, как там живет народ, и что там вообще кругом делается. Чтоб публиковаться в издательствах и журналах, получать путевки в дома творчества и загранкомандировки и вообще держаться на плаву в литературном процессе, необходимо постоянно поддерживать связи в своем клане: пускать пар в свисток. Быть на виду, оказывать услуги нужным фигурам, прознавать важные новости, участвовать во всяких мероприятиях и говорильнях, и все это поглощало полностью все время, силы и интересы. А с целью «собирать материал» о жизни «простого народа» выписывались «творческие командировки» по стране: писателя встречали, поили-кормили, ублажали и возили на экскурсии: пусть посмотрит сочинитель, совесть народная, как доятся рабочие и выполняют план по маслу коровы и быки.

Поэтому в эмиграции совписателю трудно: непривычно. Он ведь, собственно, ничего не знает. Он ведь, собственно, жил в некоем аквариуме, где рыбки жрали самосильно друг друга и воевали за жирного червячка и сытное место при кормежке.

Вот так один московский письменник свалил по израильской визе в Америку и там выхлопотал у издательства заказ на роман, обличающий ужасы и агрессивность советского строя. Он с энтузиазмом угромоздился за стол, мысленно упиваясь суммой будущего гонорара в прикиде на всякие хорошие и красивые вещи, и... вскоре с обескураженностью и паникой обнаружил, что об советской жизни не знает вовсе ничего! Ну начисто! А что знает — то слышал по «Свободе» и «Би-Би-Си». Поскольку все сознательные годы и прожил в Центральном доме литераторов, устраивая свои дела с коллегами за выпивкой и сигаретой.

Так он блестяще вышел из положения, накатав роман «ЦДЛ», где и изложил все, что ему вообще было известно о советской действительности: со злобным весельем и артистической раскованностью свел счеты со всеми личными врагами, наплел сплетен, приврал сорок бочек арестантов — и пошла книга! пошла! Но, как нетрудно предположить, это осталась его единственная книга за рубежом: материал жизненных впечатлений был исчерпан досуха.

Вообще деловые люди Невского — фарцовщики, мясники, официанты и парикмахеры: элита! — за бугром вдруг как-то обнаруживали, что они пролетают, и родным ремеслом толком не прокормиться... Вот те и свободный мир... простор для бизнеса, мля!..

И среди прочих, кто свалил перед Московской олимпиадой в Штаты, был замдиректора Ленплодоовощторга. Можно себе представить, каких масштабов фигурой он был в Ленинграде. Золотое дно, миллионные махинации: магнат. Один из хозяев города. Стометровая квартира на Мойке, забитая антиквариатом, белая «Волга», и собачке золотые зубы вставлены. Но — вечно отмазываться, совать взятки, комбинировать с документами, — нет возможностей гению бизнеса для настоящего разворота. И он свалил в страну настоящего разворота.

И в этой бездушной Америке оказалось, что он на фиг никому не нужен. Не требуются этим зажравшимся заразам ни фрукты, ни овощи, ни директора плодовых баз. Ни тебе у них пересортицы, ни дефицита, рынок рабсилы забит профессионалами, а он человек уже немолодой, и его вообще на работу никуда не берут: делать ничего, мол, не умеет... или не больно хочет. И бывший магнат, а ныне балда-совок, на свое пособие начинает мрачно пропивать тоску по родине: русская ностальгия, классика.

А отношения Америки с Союзом на тот момент предельно мерзкие, Империя Зла, понимаешь, и один мелкий литагент тут предлагает ему, среди прочих, написать антисоветский роман: за это вполне платят; это требуется. Он — крупная величина был, мозговик, менеджер, насквозь знает душившую его систему, от которой сбежал под угрозой сибирской каторги: чего ж ему не написать.

Он хватается за это предложение, добивается подписания контракта, как человек деловой, выторговывает аванс — и становится писателем!

Он приносит из прокатной конторы на Брайтоне машинку с русским шрифтом, покупает пачку бумаги, и при благоговейной тишине домочадцев начинает писать роман. Антисоветский. Люто все уже ненавидит.

Пять минут начинает. Час начинает.

Он потеет день, другой, неделю, и по прошествии недели впадает в черную меланхолию, и вдобавок к пособию пропивает аванс. И не может написать ни единого слова. Не приучен. Профессия другая. Даже крохотного рассказика не получается. Не сочинитель он, ну фантазии не хватает: другой склад ума. Он всю прежнюю жизнь посвятил вещам конкретным: деньги воровал, — тут мечтательность, знаете, противопоказана. Замечтаешься — и пожалте в загородку!

Грядет срок сдачи рукописи, звонит литагент: кранты! Не только заработок заодно с писательской славой рухнул — но и аванс возвращать надо! Проеден давно аванс, пропит. «Будет взыскан по суду».

Но литагент тертый, приезжает — спокойно разбираться:

— Слушайте, вы кем работали?

— Заместителем директора Ленплодоовощторга.

— Ага. Торговля. У русских не поощряется.

— Не поощряется... Н-но окупается...

— Оу? И крупное дело?

— Еще какое!

— Большие деньги, много людей?

— Еще какие деньги, дорогой мой!.. И каждому — дай!..

— Случались интересные истории?

— Да еще какие истории!

— Вы преследовались советскими властями?

— Упаси Бог! У меня всегда комар носу не подточит!

Агент — недоволен:

— Но вы, наверное, боялись пострадать?

— Да уж инфаркт нажил.

— Могли серьезно наказать? За что?

— За что угодно! За все. Могли вообще расстрелять.

— Оу? — просветлел агент. — Так какого черта? Пишите книгу о своей жизни и работе. За что могли расстрелять. Посмотрим.

И под угрозой отбирания аванса и впадения в полное ничтожество бывший замдиректора целит неумелым пальцем в клавиши, потеет от умственного усилия и начинает стучать:

«Я приехал в Ленинград 19 июня 1962 года. Из Днепропетровска. На Витебский вокзал. В 9.32 утра. По телефону К-1-89-90 я позвонил директору овощного магазина № 23 Петру Сергеевичу Амбарцумову и сказал, что я от Тимофея Ивановича, Левченко. Он сказал, чтобы я подъезжал, на троллейбусе № 9...»

И далее — с утра до вечера, трудолюбиво и скрупулезно, выстукивал он свою биографию во всех нюансах, славный путь от помощника продавца до замдиректора объединения. Фантазии у него, может, действительно не было, зато память — профессиональная, тверже алмаза.

Через пару месяцев, осунувшись и просветлев от напряжения, он перевязал веревочкой здоровеннейшую пачищу листов и повез литагенту, радостно вздыхая.

Литагент вытаращил глаза на эту эпопею толщиной с «Войну и мир» и с сомнением сказал:

— Я знаю, что русские очень трудолюбивы... что, вы еврей? ну тем более... Поработали, вижу...

Директор говорит покровительственно:

— Дорогой мой. Знали бы вы мою биографию. Куда там Дюма.

Литагент отвечает без энтузиазма:

— Не знаю, с Дюма я не работал... ну, почитаем...

Почитал и понял, что деньги выброшены зря: нечитабельное сочиненьице получилось. Продать невозможно. О чем автора и извещает с прискорбием.

Но автор вместо скорби проявляет присущую русским агрессивность. За доллар двадцать нашего директора не возьмешь, он уже расправил крылья, как летучий змей. Он уже слегка проконсультировался у русско-еврейского юриста с Брайтона же, как вставить штатничкам перо в нежное место. И извещает кормильца-агента с ледяной учтивостью гангстера, что представил рукопись, удовлетворяющую условиям контракта, и хотя суд он, возможно, агентовой конторе и проиграет, но реноме ей попортит на сумму много бóльшую, чем причитающийся ему по справедливости гонорар.

Агент печально матерится и с утроенными усилиями пихает рукопись куда ни попадя! И — о чудо! — одно мелкое издательство ее таки берет. Издательство сочло, что это весьма оригинальное, а главное — крайне подробное и доходчивое пособие по плодовошторговому бизнесу СССР, не имеющее аналогов нигде и никогда в мире, и подобная книга может воспользоваться некоторым спросом у ряда советологов, бизнесменов, экономистов и тому подобное.

Действительно: книга вышла, небольшим тиражом, и даже была замечена несколькими специалистами, и в общем окупилась.

Так что все остались довольны. А особенно, конечно, директор. Как легко понять, это была его единственная книга, потому что больше ему писать было уже нечего. Его литературная деятельность этим и завершилась.

Завершилась, но не ограничилась. Потому что это — только первая часть истории.

А вторая часть происходила в родимом Ленинграде.

В Большом Доме на Литейном был соответствующий отдел, укомплектованный все больше интеллигентными филологами с университетским образованием, которые, как полагается нормальным филологам, ничего в жизни не умели, а умели только читать книги. Из небогатого умения этих книголюбцев государство пыталось извлекать посильную для себя пользу. Они весь рабочий день читали себе вволю изданные на Западе книги наших эмигрантов, анализируя их на предмет вредности. За это филологам платили прекрасную зарплату офицеров КГБ, чтоб они не вопили о ненужности гуманитарной культуры в СССР и не впадали в диссидентство. А выводы их о прочитанных книгах изучали в другом отделе, который и решал, какие именно меры принять к очернителям Отечества, дабы не забывали о длинных руках голубоглазых мальчиков: автомобилем размазать по стенке или ток ему из сети на электробритву закоротить. А кого и вербануть, либо же просто плюнуть: у них тоже план работы и лимиты на расходы.

Плодовошторговую симфонию изучили с превеликим тщанием: и затруднились. Незаурядная книга оказалась; неординарная. Подумали в отделе, и передали ее вообще в другое Управление. И скромное сочинение торговца удостоилось судьбы и чести, равняющих его с

великими произведениями мировой литературы: книга зажила своей собственной жизнью, независимой от воли и замысла создателя.

В один прекрасный день звонит телефон в кабинете начальника снабжения Ленплодоовощторга. Его очень вежливо приглашают заехать на Литейный: так, знаете, просто, неофициально, побеседовать о том — о сем.

Начальник скушал валидолчику, уничтожил некоторые бумажки, и, репетируя варианты дебюта предстоящей беседы, потихоньку поехал. А там встречает его приятный молодой человек, приглашает садиться, протягивает курить, и между делом светским таким тоном осведомляется:

— Скажите пожалуйста, Иван Иванович, а вот в Одессе с Федор Федоровичем вы договаривались только об апельсинах, или о бананах тоже? Или о бананах позже, уже в Москве?

Иван Иванович, калач тертый, жизнь в торговле, честными глазами смотрит и отвечает спокойно, что не знает никакого Федора Федоровича, а в чем, собственно, дело? И какие бананы?

Молодой человек кивает сочувственно, достает из ящика стола толстую книгу, растопорщенную закладками, как дикобраз, раскрывает на одной из закладок и с наслаждением зачитывает: такого-то числа такого-то года, в такое-то время, по такому-то адресу, собрались такие-то (полный перечень фамилий, инициалов и должностей) для решения таких-то вопросов (полный протокол повестки собрания). Кто во что был одет, кто явился с любовницей, кто что сказал и какова была резолюция.

— Продолжим чтение? — интересуется декламатор. И поскольку Иван Иванович молчит: ртом двигает, дышит, — вынимается следующая закладка: — А вот уже август такого-то года, эшелон арбузов из Астрахани, такого-то числа совместно с тем-то и тем-то решили то-то и то-то, что позволило получить незаконную прибыль в сумме столько-то десятков тысяч рублей тридцать семь копеек, каковые деньги и были поделены между участниками сговора вот в такой пропорции...

Иван Иваныч пучит глаза и на грани кондрашки соображает, кто ж это у них все годы стучал. А молодой человек читает самозабвенно тоном президента, поздравляющего весь советский народ с новым годом.

К Ивану Иванычу зовут доктора, и тот ему делает укол для поддержания сознания. И увозят его непосредственно в больницу.

А молодой человек перевертывает страничку и набирает следующий телефонный номер. Беседовать приглашает.

И приглашаемые слушатели один за другим валятся со стула, как кегли. Откуда информация?! Этого никто не мог знать!!! Что за тотальное наблюдение... Что за страшная вездесущая организация это КГБ!..

— Так что мы знаем про вас абсолютно все, — деловито давит клопов молодой человек. — До малейших деталей. Ну — будем запираяться, или будем сознаваться?..

А как ты тут будешь запираяться, когда сидишь голенький на ладони?..

В течение пары месяцев Ленплодоовощторг не работал. Он трясся и садился. Он трясся, как осиновый лист и как груша, и садился в полном составе. Торговые связи выбирались, как якорные цепи, и упрятывались в объемистые ящики следственных камер. Какая капуста, какие огурцы! не до них... Упал зрелый и сочный Ленплод прямо в заботливо подставленные руки лучших из всех жнецов и сборщиков — советских чекистов.

Они и пожали весь урожай почестей и наград за это дело — раскрытие торговой мафии! — там, как всегда, где не пахали — не сеяли: даже благодарности, грамоты там ко Дню милиции, рублевой премии не получил тот, кто все это организовал. Торчит себе по-прежнему на Брайтоне создатель как мафии, так и книги о ней, и тоже теперь трясется: ох макнут его наемные бойцы из Санкт-Петербурга! ох больно язвит терновый венец литератора!

Нет: не прощают коллеги гению литературного успеха!..

Так что литература на жизнь — влияет; еще как влияет. Если это подлинная литература, основанная на глубоком знании жизненного материала.

Потому что в Ленплодоовощторге сменился весь состав — целиком. И в течение полугода потом в Ленинграде наблюдалось полное изобилие овощей и фруктов: прямо Снайдерс какой-то на прилавках — жри — не хочу. Ленинградцы недоумевали и радовались, а начальник обкома товарищ Романов получил орден за создание изобилия в колыбели революции.

Нет, потом, конечно, все пошло по-старому, разворовали все, но первые полгода-то — побаивались, стеснялись, система была не налажена. Ну — после чистки какое-то время ведь почище.

Так что если б позаботилось какое-нибудь американское издательство раз в год издавать подобную книжку, это был бы замечательный вклад в продовольственное снабжение России.

Американист

Была в ходу в Ленинграде после шестьдесят седьмого года и такая шутка: «Чем отличается Суэцкий канал от канала Грибоедова? Тем, что на Суэцком евреи сидят по одну сторону, а на Грибоедова — на обеих».

На канале Грибоедова, а отнюдь не на Суэцком, родился некогда и известный советский политический обозреватель-американист, комментатор, политолог и обличитель Валентин Зорин. Правда, фамилия его была тогда не Зорин, а несколько иная, более гармонирующая с внешним обликом. Про Зорина была и шутка персональная: Родилась она во время визита в Союз Генри Киссинджера и основывалась на необычайном их внешнем сходстве: Зорин был вылитой копией Киссинджера, прямо брат-близнец, только в одну вторую натуральной величины — тот же курчавый ежик, оттопыренные уши, жирный подбородок и роговые очки. «Скажите, пожалуйста, господин Зорин, вы еврей? — Я — русский! — А-а. А я — американский».

Вот этот Валентин Зорин, знаменитый в те времена человек, лет двадцать безвылазно просидел в Америке. Он был собкором ТАСС, и АПН, и «Правды», и всего на свете. Он в этой Америке изнемогал и жертвовал жизнью на фронтах классовой борьбы. Он жил в американском коттедже, ездил на американской машине, жрал американскую еду и носил американскую одежду. В порядке ответной любезности он сумел рассказать об Америке столько гадостей, что будь она хоть чуть-чуть послабее и поменьше — давно бы рухнула под тяжестью его обличений.

В профессиональной среде он имел среди коллег кличку «Валька-помойка».

Зорин был профессионал, и не было в Америке такой мелочи, которую он не обращал бы ей в порицание и нам в хвалу. Умел отрабатывать деньги. А деньги были неплохие; зеленые такие. Баксы. Не каждый сумеет за антиамериканскую неусыпную деятельность получать в американской же валюте.

Такое было время акробатов пера и шакалов ротационных машин.

И вот он однажды под вечер выходит из одних гостей. Его там в доме принимали прогрессивные американцы, кормили его стеками, поили виски и говорили всякие приятные вещи. И он уже обдумывает, как сделать из этого антиамериканский материал. И повыгоднее его пристроить.

И идет он к своей машине, припаркованной в сотне метров у тротуара. И тут сзади ему упирается в почку что-то вроде пистолетного ствола, и грубый голос приказывает:

— Не шевелиться! Бабки гони!

Ограбление, значит. Типичный нью-йоркский вариант.

Зорин, как человек искушенный и все правила игры знающий, не дергается. В нагрудном кармане пиджака у него, как советуют все полицейские инструкции, лежит двадцатка. И он ровным голосом, стараясь не волноваться, отвечает, что у него с собой двадцать долларов всего, в нагрудном кармане.

— Доставай, но без резких движений!

Он осторожно достает двадцатку и протягивает за плечо. Ее берут, и голос угрожает:

— Пять минут не двигаться! А то — покойник!

И тихие шаги удаляются назад.

Когда, по расчетам Зорина, времени проходит достаточно для того, чтобы грабитель удалился на безопасное расстояние, он оглядывается — и видит, как за угол скрывается поспешно негр. Самый такой обычный, в синих джинсах, в клетчатой рубашке, в белых кедах.

Зорин садится в свою машину и едет. А сам обдумывает. Это ж какой случай замечательный! Среди бела дня советский корреспондент ограблен в центре Нью-Йорка вооруженным преступником! Вот уже до чего дошел разгул безобразий! И полиция их продажная бессильна! Прекрасный материал сам в руки приплыл.

И чтобы сделать очередной журналистский шедевр более убедительным, емким и панорамным — показать всю прогнилость и обреченность ихнего строя, он гонит к ближайшему отделению полиции. Стреляный воробей: а то завопят потом — лжет этот красный, никто его не грабил, почему не обратился в полицию, если грабили?! Пожалуйста — обращаюсь.

А поди ты его поймай: лица не видел, примет не знаю, а таких ограблений — да тысячи ежедневно. Стрелял наркоман двадцатку на дозу — это как промысел: верняк.

Он тормозит под вывеской полицейского участка и просит проводить его к дежурному — он должен заявить об ограблении.

В отделении сидит под кондиционером здоровенный сержант с красной ирландской рожей и голубыми глазками, вытянув ноги на стол, и жует жвачку.

— Привет! — говорит он Зорину. — Какие проблемы?

— Я советский журналист! — заявляет Зорин. — И меня сейчас ограбили прямо на тротуаре в вашем городе!

— Да, — сочувствует детина, — это бывает. Кто ограбил?

— Приставили пистолет к спине и отобрали деньги.

— Приметы, — говорит детина, — приметы! Подробности потом. Если вы заинтересованы, чтобы мы нашли преступника — давайте попробуем.

— Черный, — описывает Зорин ехидно. — В синих джинсах, в клетчатой рубашке. В белых кедах. Роста так среднего. Не старый еще, конечно.

— Так, — спокойно говорит сержант. — Понятно. Где это, говорите, случилось, мистер? Сколько минут назад?

А во всю стену мигает лампочками подробнейшая карта города.

Сержант щелкает тумблером и говорит:

— Алло! Джон? Фил? Уличное ограбление. Квадрат 16-Д. Тридцать шестая, близ угла Второй авеню. Девятнадцать пятнадцать плюс-минус минута. Чернокожий, среднего роста, синие джинсы, клетчатая рубаха, белые кеды. Давайте. Он бомбанул русского журналиста, тот волну гонит. Да. Сколько он у вас взял, сэр?

А говорить, что весь этот сыр-бор из-за двадцатки, как-то и неудобно. Не того масштаба происшествие получается. Попадет потом в газеты: коммунистический журналист хотел засадить в тюрьму бедного представителя угнетенного черного меньшинства за паршивые двадцать долларов. И Зорин говорит:

— Триста долларов.

— Алло! Он с него снял триста баков — вы пошустрите, ребята.

Придвигает Зорину пепельницу, газету, пиво:

— Посидите, — говорит, — немного, подождите. Сейчас ребята проверят, что там делается. Да, — признается, — с этими уличными ограблениями у нас просто беда. Уж не сердитесь.

— Ничего, — соглашается Зорин, — бывает. — А сам засекает время: чтоб написать потом, значит, сколько он проторчал в полиции, и все без толку, как его там мурыжили и вздыхали о своем бессилии. Отличный материал: гвоздь!

Он располагается в кресле поудобнее, открывает банку пива, разворачивает газетку... И тут распахиваются двери, и здоровенный полисмен вволакивает за шкирку негра:

— Этот?

И у Зорина отваливается челюсть, а пиво идет через нос. Потому что негр — тот самый...

Сержант смотрит на него и констатирует:

— Рост средний. Особых примет нет. Джинсы синие. Рубашка клетчатая. Кеды белые. Ну — он?!

И Зорин в полном ошеломлении машинально кивает головой. Потому что этого он никак не ожидал. Это... невозможно!!!

Нет — это у них там патрульные машины вечно болтаются в движении по своему квадрату, и до любой точки им минута езды, и свой контингент в общем они знают наперечет — профессионалы, постоянное место службы. Так что они его прихватили тут же поблизости, не успел еще бедняга дух перевести и пивка попить.

— Та-ак, — рычит сержант. — Ну что: не успел выйти — и опять за свое? Тебе что — международных дел еще не хватало? Ты знаешь, что грабанул знаменитого русского журналиста, который и так тут рад полить грязью нашу Америку?

— Какого русского, офицер? — вопит негр. — Вы что, не видите, что он — еврей? Стану я еще связываться с русскими! Вы меня с Пентагоном не спутали?

Зорин слегка краснеет. Сержант говорит:

— Ты лучше в политику не лезь. Он — русский подданный. И сделал на тебя заявление. Говори сразу — пушку куда дел?

— Какую пушку? — вопит негр. — Да вы что, офицер, вы же меня знаете — у меня и бритвы сроду при себе не было. Что я, законов не знаю? вооруженный грабеж пришить мне не получится, нет! Я ему

палец к спине приставил, и всего делов. А если он испугался — так я ни при чем. Никакого оружия!

— Вы подтверждаете, что видели у него оружие? — спрашивает сержант.

— Побойтесь Бога, мистер русский еврей-журналист, сэр! — говорит негр.

Зорин еще раз слегка краснеет и говорит, что нет, мол, собственно оружия он не видел, но он, конечно, может отличить палец от пистолета, и прикосновение было, безусловно, пистолета. Но поскольку он сначала не оборачивался, а потом уже издали мелкие детали было трудно разобрать, то он на оружии не настаивает, потому что не хочет зря отягчать участь бедного, судя по всему, простого американца, которого только злая нужда могла, конечно, толкнуть на преступление.

— О'кэй, — говорит сержант, — с оружием мы тоже разобрались. Теперь с деньгами. Гони мистеру триста баков, живо, и если он будет так добр к тебе, то ты можешь на этот раз легко отделаться.

Тут негр ревет, как заводской гудок в день забастовки, и швыряет в лицо Зорину его двадцатку.

— Какие триста баков! — лопается от праведного возмущения негр. — Пусть он подавится своей двадцаткой! У него в нагрудном кармане пиджака, вот в этом — и тычет пальцем — была двадцатка, так он сам ее вытащил и отдал мне! Сержант, верьте мне: этот проклятый коммунистический еврей хочет заработать на бедном чернокожем! Что я сделал вам плохого, сэр?! Где я возьму вам триста долларов?!

Зорин, человек бывалый, выдержанный, все-таки краснеет еще раз и вообще происходит некоторая неловкая заминка. То есть дело приняло совсем не тот оборот, который был предусмотрен.

Сержант смотрит на него внимательно, сплевывает жвачку и говорит:

— Вы заявили, что грабитель отнял у вас триста долларов. В каких они были купюрах? Где лежали? Вы подтверждаете свое заявление?

Зорин говорит с примирительной улыбкой:

— Знаете, сержант, я все-таки волновался во время ограбления. Поймите: я все-таки не коренной американец, и как-то пока мало

привык к таким вещам. У меня был стресс. Допускаю, что я мог в волнении и неточно в первый момент помнить какие-то отдельные детали. Может быть, там было и не триста, а меньше...

— Вы помните, сколько у вас было наличных? — спрашивает сержант; а полисмен откровенно веселится. — Проверьте, пожалуйста: сколько не хватает?

— Знаете, — говорит Зорин, — я был в гостях, совершил некоторые покупки с утра, подарки, потом мы там немного выпили... Не помню уже точно.

— Выпили, значит, — с новой интонацией произносит сержант. — И после этого сели за руль? Это вы в России привыкли так делать?

— Нет, — поспешно отвечает Зорин, и лицо его начинает чем-то напоминать совет из женского календаря: «Чтобы бюст был пышным, суньте его в улей». — Мы пили, конечно, только кока-колу, я вообще не пью, я просто имел в виду, что у меня было после встречи с моими американскими друзьями праздничное настроение, словно мы выпили, и, конечно, я был немного в растерянных чувствах...

— Короче, — говорит сержант. — Это ваша двадцатка?

— Моя.

— У вас есть еще материальные претензии к этому человеку?

— Я ему покажу претензии! — вопит негр. — Обирала жидовский! Это что ж это такое, сэр, — жалуется он сержанту, — в родном городе заезжий еврей при содействии полиции грабит бедного чернокожего на триста долларов! Когда кончится этот расизм!

Тогда Зорин на ходу меняет тактику. Делает благородную позу.

— Сержант, — говорит он. — Я не хочу, чтобы этого несчастного наказывали. Мне известно о трудностях жизни цветного населения в Америке. Пусть считается, что я ему подарил эти двадцать долларов, и давайте пожмем друг другу руки в знак мира между нашими двумя великими державами.

Но сержант руку жать не торопится, а наоборот, его ирландская рожа начинает наливаться кровью.

— Подарили? — спрашивает, пыхтя.

— Подарил, — великодушно говорит Зорин.

— Так какого черта вы заявляете в полицию, что он вас под револьвером ограбил на триста, если на самом деле вы сами подарили

ему двадцать? — орет сержант. — Вы же здесь сами десять минут назад хотели закатать его на двенадцать лет за вооруженный грабеж?!

— Я разволновался, — примирительно говорит Зорин. — Я был неправ. Я иногда еще плохо понимаю по-английски.

— Сколько лет вы в Америке?

— Около двадцати.

— Так какого черта вы здесь пишете, если не понимаете по-английски?

Тут до негра доходит, что двадцатку ему вроде как дарили, и он протягивает руку, чтоб взять ее обратно, но Зорин берет быстрее и кладет к себе в карман, потому что двадцати долларов ему все-таки жалко.

— Ладно, — сплевывает сержант. — Со своими подарками разбирайтесь сами. Это в компетенцию полиции не входит. Если у вас больше нет друг к другу претензий, проваливайте к разэдакой матери и не морочьте мне голову.

— Я напишу материал о блестящей работе нью-йоркской полиции, — льстиво говорит Зорин. — Очень рад был познакомиться. Как ваша фамилия, сержант?

— Мою фамилию вы можете прочитать на этой табличке, — говорит детина. — А писать или не писать — это ваше дело. Не думаю, чтоб мое начальство особенно обрадовали похвалы в коммунистической русской прессе. До свидания. А ты, Фил, погоди минутку. Ты мне пока нужен как свидетель всего разговора.

И Зорин с негром выкатываются на тротуар, где негр обкладывает Зорина в четыре этажа, плюет на его автомобиль, предлагает на прощание поцеловать себя в задницу и гордо удаляется. А Зорин уезжает домой, поражаясь работе нью-йоркской полиции и радуясь, что легко выпутался из лап этих держиморд.

А сержант снимает трубку и звонит знакомому репортеру полицейской хроники, который подбрасывает ему мелочишку за эксклюзивную поставку информации для новостей.

— Слушай, — говорит, — Билл, тут у меня был один русский журналист... Зо-рин... Ва-лен-тин... да, его черный-наркоман грабанул на двадцатку, да, палец сунул к пояснице вместо револьвера... да, так он прикатил к нам и хотел этого бедолагу вскрыть

на триста баков... как тебе это нравится, представляешь, закатать его на двенадцать лет?! Да, известный, говорит, журналист...

И назавтра «Нью-Йорк Таймс» выходит во-от с такой шапкой: «сенсация! сенсация! знаменитый русский журналист Валентин Зорин, известный своими антиамериканскими взглядами, пытается ограбить безработного, чернокожего наркомана!!!» И излагается в ярких красках вся эта история — с детальным указанием места, времени, и фамилий полицейских.

После этого перед Зориным закрываются двери американских домов. И его как-то тихо перестают приглашать на всякие брифинги и пресс-конференции. И интернациональные коллеги больше не зовут его выпить, и некоторые даже не здороваются.

И в конце концов он вынужден, естественно, покинуть Америку, потому что скандал получился некрасивый. Сидит в Союзе, и лишь крайне изредка проскальзывает по телевизору.

А когда его спрашивали:

— Вы столько лет проработали в Америке, так хорошо ее знали, — почему все-таки вы ее покинули и вернулись в Союз? — он отвечал так:

— Вы знаете, когда я как-то услышал, что мои дети, выходя из дому в школу, переходят между собой с русского на английский, я понял, что пора возвращаться!..

Легенда о морском параде

И была же, была Великая Империя, атели стяги в громе оркестров, чеканили шаг парадные коробки по брусчатым площадям, и гордость державной мощью вздымалась в гражданах! И под эти торжественные даты Первого мая и Седьмого ноября входил в Неву на военно-морской парад праздничный ордер Балтфлота. Боевые корабли, выдраенные до грозного сияния, вставали меж набережных на бочки, расцветивались гирляндами флагов, и нарядные ленинградцы ходили любоваться этим зрелищем.

Возглавлял морской парад, по традиции, крейсер «Киров». Как любимец города и флагман флота. Флагманом он стал после того, как немцы утопили линкор «Марат», бывший «Двенадцать апостолов». Он вставал на почетном месте, перед Дворцовым мостом, у Адмиралтейства, и всем его было хорошо видно.

Так вот, как-то вскоре после войны, в сорок седьмом году, собираясь уже на парад, крейсер «Киров» напоролся в Финском заливе на невытраленную мину. Мин этих мы там в войну напихали, как клецок, и плавали они еще долго; так что ничего удивительного. Получил он здоровенную дыру в скуле, и его кое-как отволокли в Кронштадт, в док. Сигнальщиков, начальство и всю вахту жестоко вздрючили, а особисты забежали и стали шить дело: чья это диверсия — оставить Ленинград на революционный праздник без любимца флота?

Флотское командование уже ощупывало, на месте ли погоны и головы. Сталин недоверчиво относился к случайностям и недолюбливал их. Пахло крупными оргвыводами.

И последовало естественное решение. У «Кирова» на Балтике был систер-шип, однотипный крейсер «Свердлов». Так пусть «Свердлов» и участвует в параде. Для разнообразия. Политически тоже выдержано — имена равного калибра. Какая, собственно, разница. Как будто так и было задумано.

А «Свердлов» в это время спокойно стоял под Кенигсбергом, уже переименованным в Калининград, в ремонте. Машины разобраны, хозяйство раскурочено, ободрано, половина морячков в береговых

мастерских, ковыряются себе потихоньку. По субботам в увольнение на танцы ходят. И не ждут от жизни ничего худого.

И тут командир получает шифровку: срочно сниматься и полным ходом идти в Ленинград, с тем чтобы в ночь накануне праздника войти в Неву и занять место во главе парадного ордера. Исполнять.

Командир в панике радирует в Кронштадт: что, как, почему, а где же «Киров»? Вы там партийных деятелей не перепутали? Ответ: не твое дело. Приказ понятен?

Так я же в ремонте!! — Ремонт прервать. После парада вернешься и доремонтируешься. — Да крейсер же к черту разобран на части!! — Сколько надо времени, чтоб быстро собраться и выйти? — Минимум две недели. — В общем, так. Невыполнение приказа? Погоны жмут, жизнь наскучила? А... Ждем тебя, голубчик.

И начинается дикий хапарай в темпе чечетки. Срочно заводят на место механизмы главных машин. Приклепывают снятые листы обшивки. Командир принимает решение: начинать движение самым малым на одной вспомогательной, ее сейчас кончат приводить в порядок, а уже на ходу, двадцать четыре часа в сутки, силами команды, спешно доделывать все остальное. Всем БЧ через полчаса представить графики завершения работ.

БЧ воют в семьсот глоток, и вой этот вызывает в гавани дрожь и мысль о матросском бунте, именно том самом, бессмысленном и беспощадном: успеть никак невозможно! Командир уведомляет командиров БЧ об ответственности за бунт на борту, и через час получает графики. Согласно тем графикам лап у матроса шесть, и растут они вместо брюха, потому что жрать до Ленинграда будет некогда и нечего, коки и вся камбузная команда тоже будут круглые сутки завершать последствия ремонта. — Отлично; не жрешь — быстрее крутиться будешь.

И тут вспоминают: а красить-то, красить когда?! Ведь ободрано все до металла!!! Командир — старпому: сука!!! Помполит — боцману: вредим понемногу?.. Боцман: в господа бога морскую мать. — Через час отходим!!! — Боцман: есть.

За пять минут до отхода, командир голос сорвал, вопя по телефонам, является старпом — доклад: задача выполнена. Командир: гигант! как? Помполит: ну то-то же. Старпом: так и так, сводная бригада маляров береговой базы на стенке построена. Пока мы на ходу

все доделаем, они все и покрасят, в лучшем виде. Приказ — принимать на борт?

Командир хлопает старпома по плечу, жмет руку помполиту, утирает лоб рукавом, смотрит на часы и закуривает:

— Машине — готовность к оборотам. Приготовиться к отдаче швартовых. Рабочих — на борт.

Старпом говорит:

— Может быть, взглянете?

— Чего глядеть-то.

А снаружи раздается какой-то странный шум.

Командир смотрит в лицо старпому и выходит на крыло мостика.

Вся команда, побросав дела, сбилась вдоль борта. Свистит, прыгает и машет руками.

А на стенке колеблется строй малярш. И делает матросикам глазки.

Папироса из командирского рта падает на палубу, плавно кувыряясь и рассыпая искры, а сам он покачивается и хватается за поручни:

— Эт-то что...

Старпом каменеет лицом и гаркает боцману:

— Это что?!

Боцман рыкает строем:

— Смир-рна! — и, бросив руку к виску, рапортует: — Сводная бригада маляров в составе двухсот человек к ремонту-походу готова!

Малярши смыкают бедра, выпячивают груди, округляют глазки и подтверждают русалочьим хором:

— Ой готова!..

Матросики по борту мечут пену в экстазе и жестами всячески дают понять, что они приветствуют малярную готовность и, со своей стороны, также безмерно готовы.

Командир говорит:

— Ну!.. — и закуривает папиросу не тем концом. — Ну!.. — говорит. — Да!..

Помполит говорит:

— Морально-политическое состояние экипажа! — А у самого зрачки по блюдцу, и плещется в тех блюдцах то, о чем вслух не говорят.

А старпом почему-то изгибается буквой зю, и распрямляться не хочет. И краснеет.

А рация в рубке верещит: «Доложить готовность к отходу!»

— Готовность что надо, — мрачно говорит командир, сжевывая папиросный табак.

А боцман снизу — старорежимным оборотом:

— Прикажете грузить?

Командир машет рукой, как Пугачев виселице, и — обреченно:

— Принять на борт. Построить на полубаке к инструктажу.

И малярши радостной толпой валят по трапу, а морячки беснуются и в воздух чепчики бросают, и загнать их по местам нет никакой возможности.

— Команде по местам стоять!!! — вопит командир. — Отдать носовой!!!

Потому что никакого времени что бы то ни было изменить уже не остается. В качестве альтернативы — исключительно трибунал; а перед такой альтернативой человеку свойственно нервничать.

И раздолбанный крейсер тихо-тихо отваливает от стенки, а малярши выстраиваются на полубаке в четыре шеренги, теснясь выпуклостями, и со смешочками «По порядку номеров — рассчитайсь!» рассчитываются, причем счет никак не сходится, и с четвертого раза их оказывается сто семьдесят две, хотя в первый раз получилось сто девяносто три.

Боцман таращится преданно и предъявляет в доказательство список личного состава на двести персон. Персоны режутся, и становится их на глазах все меньше, и это удивительное явление не поддается никакому научному истолкованию.

Болельщики счастливо — боцману:

— Да кто ж по головам-то! Весом нетто надо было принимать — без упаковки!

Командир вышагивает — инструктирует кратко:

— Крейсер первого ранга! Дисциплина! Правительственный приказ! — Замедляет шаг: — Как звать? Не ты, вот ты! Назначаешься старшей! Вестовой — препроводить в салон. Боцман! — разбить по командам, назначить ответственных, раздать краску и инструмент, поставить задачи! Через полчаса доложить исполнение — проверю лично! Приступать.

И поднимается на мостик.

И под приветственный свист со всех кораблей они медленно ползут к выходу из гавани.

Командир переминается, смотрит на створы, на карту, на часы, и старпому говорит:

— Ну что же, — говорит, — Петр Николаевич. Вы капитан второго ранга, опыт большой, пора уже и самостоятельно на корабль аттестовываться. Так что давайте, командуйте выход в море. На румбе там восемьдесят шесть, да вы и сами все знаете, ходили. А я пока спущусь вниз: посмотрю лично, что там у нас делается. А то, сами понимаете...

И, манкируя таким образом святой и неотъемлемой обязанностью командиру на входе и выходе из порта присутствовать на мостике лично, он спускается в низы. И больше командира никто нигде не видит.

А старпом смотрит мечтательно в морское пространство, принимает опять позу буквой зю, шепчет что-то беззвучно и звонит второму штурману:

— Поднимитесь-ка, — говорит, — на мостик.

— Ну что, — говорит он ему, — товарищ капитан третьего ранга. Я ухожу скоро на командование, корабль получаю, вот после перехода сразу аттестуюсь. А вам расти тоже пора, засиделись во вторых, а ведь вы как штурман не слабее меня, и командирский навык есть, не отнекивайтесь; грамотный судоводитель, перспективный офицер. Дел у нас сейчас, как вы знаете, невпроворот, и все у старпома на горбу висит, так что примите мое доверие, давайте: из гавани мы уже почти вышли, курс проложен — покомандуйте пару часиков, пока я по хозяйству побегая, разгону всем дам и хвоста накручу. Тем более, — напоминает со значением, — ситуация на борту, можно сказать, нештатная, тут глаз да глаз нужен.

И с видом сверх меры озабоченного работяги-страдальца старпом покидает мостик; и больше его тоже никто нигде никогда не видит.

...И вот на третьи сутки командир звонит из своей каюты на мостик: как там дела? где местонахождение, что на траверзе, скоро ли подходим? И с мостика ему никто не отвечает. Он немного удивляется, дует в телефон и звонит в штурманскую рубку. И там ему тоже никто не отвечает. Звонит старпому — молчание. Он в машину звонит!

корабль-то на ходу, в иллюминатор видно! А вот вам — из машины тоже никаких признаков жизни.

Командир синее, звереет и звонит вестового. И — нет же ему вестового!

А из алькова командирского, из койки, с сонной нежностью спрашивают:

— Что ты переживаешь, котик? Что-нибудь случилось?..

Котик издает свирепое рычание, с треском влезает в китель.

— Ко-отик! куда ты? а штаны?..

Командир смотрит в зеркало на помятейшую рожу с черными тенями вокруг глаз и хватается за бритву.

— Да и что ж это ты так переживаешь? — ласково утешает его из простынь наикрасивейшая малярша, и назначенная за свои выдающиеся достоинства старшей и приглашенная, так сказать, по чину. — У вас ведь еще такая уйма народу на корабле, если что вдруг и случилось бы — так найдется кому присмотреть.

Командир в гневе сулит наикрасивейшей малярше то, что она уже и так получила в избытке, и, распространяя свежесвыбритое сияние, панику и жажду расправы вплоть до повешения на реях, бежит на мостик.

При виде его полупрозрачная фигура на штурвале издает тихий стон и начинает оседать, цепляясь за рукоятки.

— Вахтенный помощник!!! — гремит командир.

А вот ни фиги-то никакого вахтенного помощника. Равно как и прочих. Командир перехватывает штурвал, удерживая крейсер на курсе, а матрос-рулевой, хилый первогодок, норовит провалиться в обморок.

— Доложить!! где!! штурман!! старший!!

А рулевой вытирает слезы и слабо лепечет:

— Товарищ капитан... первого ранга... третьи сутки без смены... не ел... пить... гальюн ведь... заснуть боялся... — и тут же на палубе вырубается: засыпает.

Командир ему твердою рукой — в ухо:

— Стоять! Держать курс! Трибунал! Расстрел! Еще пятнадцать минут! Отпуск! В отпуск поедешь! — И прыгает к телефону.

При слове «отпуск» матрос оживает и встает к штурвалу.

Командир беседует с телефоном. Телефон разговаривать с ним не хочет. Молчит телефон.

Он несется к старпому и дубасит в дверь. Ничего ему дверь на это не отвечает: не открывается. Несется в машину! Задраена машина на все задрайки, и не подает никаких признаков жизни.

Кубрики задраены, башни и снарядные погреба, задраена кают-компания, и даже радиорубка тоже задраена. И задраена дверь этой сволочи помполита. И малым ходом движется по тихой штилевой Балтике эдакий Летучий Голландец «Свердлов», без единого человека где бы то ни было.

И только с мостика душераздирающе стонет рулевой, подвешенный на волоске меж отпуском и трибуналом, истощив все силы за двое суток исполнения долга, в то время как прочие истощили их за тот же период, исполняя удовольствие... Да мечется в лабиринтах броневго корпуса чисто выбритый, осунувшийся и осатаневший командир, матерясь во всех святых и грохоча каблуками и рукоятью пистолета во все люки и переборки. Но никто не откликается на тот стук, словно вымерли потерпевшие бедствие моряки, опоздало спасение, и напрасно старушка ждет сына домой.

В кошмаре и раже командир стал делить количество патронов в обойме на численность экипажа, и получил бесконечно малую дробь, не соответствующую решениям задачи.

Он прет в боевую рубку, и врубает ревун боевой тревоги, и объявляет по громкой трансляции всем стоять по боевому расписанию, настал их последний час. И таким левитановским голосом он это объявляет, что матросик на руле окончательно падает в обморок. Крейсер тихо скатывается в циркуляцию. Команда, очевидно, в свой последний час спешит пожить — не показывается. И только вдруг оживает связь: машина докладывает.

Слабым таким загробным голосом докладывает:

— Товарищ командир... Третьи сутки на вахте... один... Сил нет... прошу помощи...

— Кто в машине?! Где стармех?! Где вахтенный механик?!

— Матрос-моторист Иванов. Все кто где... мне приказали... обещали сменить, значит... если я, то и мне... Что случилось у нас?

— Пожар во втором снарядном погребе!!! — орет командир по трансляции и врубает пожарную тревогу. — Давай, орлы, сейчас на

воздух взлетим!!! Пробоина в котельном отделении!!! Водяная тревога!!! Тонем же на хрен!!! — взывает неуставным образом.

И тогда повсюду начинают лязгать задрайки и хлопать люки и двери и раздаётся истошный женский визг. И на палубу прут изо всех щелей и дыр полуодетые, четвертьодетые и вовсе неодетые малярши и начинают бегать и визжать, а через них валят напролом, застегиваясь на ходу, бодрые матросы — расхватывают багры и огнетушители, раскатывают шланги и брезенты.

— Старпома на мостик!!! — орет командир. — Командиров БЧ на мостик!

И когда они, застегнутые не на те пуговицы и с развязанными шнурками, вскарабкиваются пред его очи, дрожа и потея как от сознания преступной своей греховности, так и от оной греховности последствий...

— Пловучий бордель, — зловеще цедит командир... — А-а-а... из крейсера первого ранга — бардак?.. Что... товарищи офицеры!!! моральный облик!!! несовместимый! из кадров! к трепаной матери! без пенсии! под трибунал! за яйца! — Волчьим оскалом — щелк:

— Штурман!

— Так точно! — хором рубят штурмана.

— Местонахождение! Что на румбе?!

И дает отбой тревогам:

— Баб — всех — в носовой кубрик! на задрайку! часового! найду где — своей рукой! за борт! расстреляю!

Выясняется, что тем временем на траверзе рядом — Рига. Командир приказывает менять курс на нее и шлепать в Ригу. И через пару часов страшный, как после атомной войны, «Свердлов» своим малым инвалидским ходом вваливается в порт и просит приготовиться к приему двухсот ремонтных рабочих. Командир связывается с военным комендантом — убеждает обеспечить уж их доставку домой, в Кенигсберг. Да нет, дисциплинированные; выполняли срочное задание...

Выполнивших срочное задание малярш снова выстраивают на полубаке, но уже под бдительной охраной, и командир принимается лично пересчитывать их по взлохмаченным головам. Может, если б он их по другим местам считал, то и результат получился бы другой, а так у него получилось девяносто семь.

— Или через пять минут я сосчитаю до двухсот, — говорит обозленный своими арифметическими успехами командир старпому, — или через пять минут на крейсере открывается вакансия старшего помощника. Тебя в школе устному счету не учили? так получишь прокурора в репетиторы.

И бедных малярш, размягченных и осоловевших от военно-морского гостеприимства, извлекают из таких мест корабля, по сравнению с которыми шляпа фокусника — удобное и просторное жилище: из шкапчиков, закутков, рундуков, шлюпочных тентов, вентиляционных шахт, топливных цистерн и водяных емкостей. И через полчаса их сто пятьдесят шесть.

Старпом плачет и клянется верностью присяге.

— Боцман, — осведомляется командир, — ты на Колыме баржой не заведовал? Аттестую!!

И боцман, скрежеща зубами, буквально шкрябкой продирает все закоулки корабля, и малярш набирается сто девяносто три.

— Ладно, хрен с ним, — примирительно останавливает командир, тем более что из недостающих семи одна, самая качественная, спит у него в каюте. — Время не позволяет дольше. Сгружай на фиг,!

«Свердлов» швартуется к стенке, спускает трап, и опечаленные малярши ссыпаются на берег, рассылая воздушные поцелуи и выкрикивая имена и адреса. Вслед за чем крейсер незамедлительно отваливает — продолжать свой многотрудный поход.

Объем незавершенных работ и оставшееся время друг другу соответствует, как комбайн — полевой незабудке. Командир принимает решение сосредоточить все усилия на категорически необходимом. Первое: кончить сборку главной машины, в Неву-то с ее фарватером и течением на вспомогаче не очень зайдешь. И второе: полностью произвести наружную окраску, без чего ужасный внешний вид любимца флота может быть не одобрен командованием.

И вот шлепает крейсер самым малым, а на мачтах, трубах, за бортом болтаются в люльках матросики и спешно шаровой краской накатывают красоту на родной корабль. Весело работают! перемигиваются и кисти роняют.

И кое-как, командир на грани инфаркта, они действительно под обрез успевают, и на исходе предпраздничной ночи проходят Кронштадт, входят на рассвете в Неву, и обнаруживается, что буксиров

для их встречи и проводки, конечно, нет. Как обычно на флоте, одной службе не полагается знать планы другой, и коли доподлинно известно, что «Киров» подорвался и в параде не участвует, то с чего бы портовой службе слать ему буксиры. А о героическом подвиге «Свердлова» ее не информировали. И «Свердлов» самостоятельно вползает в Неву, проходит мост лейтенанта Шмидта... а это совсем не так просто — тяжелому крейсеру в реке своим ходом протискиваться к стоянке и вставать на бочки. Течение сильное, фарватер узкий, места мало, осадка приличная — того и гляди сядешь на мель, подразвернет тебя поперек течения, и — сушите весла и сухари, товарищ командир.

И командир, в мокром насквозь кителе, отравленный бессонницей и никотином бесчисленных папирос, заводит-таки крейсер на место! А сверху сигнальщик торжественно поет, что у ступеней Адмиралтейства стоит, судя по вымпелу, катер командующего флотом, и сам командующий, горя наградами и галунами парадной адмиральской формы, наблюдает эволюции своего дубль-флагмана.

«Свердлов» замирает точно в предназначенной ему позиции, напротив Адмиралтейства, и начинает постановку на бочки. И тут до всех доходит, что бочек никаких нет. По той же причине — раз нет «Кирова», значит, не нужны ему здесь и бочки, а насчет приказа «Свердлову» на срочный переход — не портовой службы это собачье дело, им об этом знать раньше времени, вроде, и по штату не полагается. Короче — не к чему швартоваться.

Командир поминает, что покойница-мама еще в детстве не велела ему приближаться к воде. И, естественно, приказывает отдавать носовые якоря. А это маневр не простой: надо зайти выше по течению, до самого Дворцового моста, стравить якоря и тихо сползать вниз по течению, пока якоря возьмутся за грунт, и чтоб точно угадать место, где они уже будут держать. И из-под командирской фуражки валит пар.

А адмиральский катер тем временем, не дожидаясь окончания всех этих пертурбаций, срывается пулей с места, красивой пенной дугой подлетает и притирается к борту, ухарь-баковый придерживает багром, вахтенный горланит:

— Адмиральский трап подать!

И адмиральский трап с четкостью опускается до палубы катера. И адмирал со свитой восходит на крейсер, под полагающиеся ему по должности пять свистков и чеканный рапорт дежурного офицера.

Адмирал следует на мостик, который командир до окончания постановки на якоря покидать не должен, с удовольствием наблюдает за последними распоряжениями, оценивает распаренный вид командира, благосклонно принимает рапорт и жмет руку:

— Молодец! Службу знаешь! Ну что — успел? то-то. Благодарю!

Командир тянется и цветет, и открывает рот, чтоб лихо отрубить: «Служу Советскому Союзу!» Но вместо этих молодецких слов вдруг раздается взрыв отчаянного мата.

Адмирал поднимает брови. Командир глюкает кадыком. Свита изображает скульптурную группу «Адмирал Ушаков приказывает казнить турецкого пашу».

— Кх-м, — говорит адмирал, заминая неловкость; что ж, соленое слово у лихих моряков, да по запарке — ничего... бывает.

— Служу Советскому Союзу, — сообщает, наконец, командир.

— Пришлось попотеть? — поощрительно улыбается адмирал.

И в ответ опять — залп убийственной брани.

Адмирал злобно смотрит на командира. Командир четвертует взглядом старпома. Старпом издает змеиный шип на помполита. У помполита выражение как у палача, да угодившего вдруг на собственную казнь.

Матюги сотрясают воздух вновь, но уже тише. А над рассветной Невой, над водной гладью, меж гранитных набережных и стен пустого города, разносится непотребный звук с замечательной отчетливостью. И эхо поигрывает, как на вокзале.

Адмирал вертит головой, и все вертят, не понимая и желая выяснить, откуда же исходит это кошунственное безобразие.

И обращают внимание, что вниз по течению медленно сплывает какое-то большое белое пятно. А в середине этого пятна иногда появляется маленькая черная точка. И устанавливают такую закономерность, что именно тогда, когда эта точка появляется, возникает очередной букет дикого мата.

— Сигнальщик! — срывается с последней гайки в истерику командир. — Вахтенный!!! Шлюпку! Катер! Определить! Утопить!!!

Шлепают катер, в него прыгает команда, мчатся туда, а с мостика разглядывают в бинокли и обмениваются замечаниями, пари держат.

Катер влетает в это пятно, оказывающееся белой масляной краской. Из краски выныривает голова, разевает пасть и бешено

матерится. Булькает, и скрывается обратно.

При следующем появлении голову хватают и тянут. И определяют, что голова принадлежит матросу с крейсера. Причем вытягивается из воды матрос с большим трудом, потому что к ноге у него намертво привязано ведро. Вот это ведро, естественно, тащило его течением на дно. А когда ему удавалось на две секунды вынырнуть, он и вопил, требуя спасения в самых кратких энергических выражениях.

Оказалось, что матрос сидел за бортом верхом на лапе якоря и срочно докрашивал ее острие в белый цвет. И когда якорь отдали, пошел и он. Забыли матроса предупредить, не до того! красить-то его послал один начальник, а командовал отдачей якоря совсем другой. Ведро же ему надежным узлом привязал за ногу боцман, чтоб, сволоочь, не утопил казенное имущество ни при каких обстоятельствах.

Командир, пред адмиральским ледяным презрением, из-за такой ерунды обгадилась самая концовка блестящая такой многотрудной операции — хрипом и рыком вздергивает на мостик боцмана:

— А тебе, — отмеряет, — твой матрос?! — десять суток гауптвахты!!

Несчастный боцман тянется по стойке смирно и не может удержаться от непроизвольного, этого извечного вопля:

— За что!.. товарищ командир!

На что следует ядовитый ответ:

— А за несоблюдение техники безопасности. Потому что, согласно правилам техники безопасности, при работе за бортом матрос должен быть быть к лапе якоря принайтовлен... надежно... шкер-ти-ком!

Лаокоон

На Петроградской стороне, между улицами Красного Курсанта и Красной Конницы, есть маленькая площадь. Скорее даже сквер. Кругом деревья и скамейки — наверное, сквер.

А в центре этого сквера стояла скульптура. Лаокоон и двое его сыновей, удушаемые змеями. В натуральную величину, то есть фигуры человеческого роста. Античный шедевр бессмертного Фидия — мраморная копия работы знаменитого петербургского скульптора Паоло Трубецкого.

А рядом со сквером была школа. Средняя школа № 97. В ней учились школьники.

Ничего особенного в этом усмотреть нельзя. И школ, и скверов, и статуй в Ленинграде хоть пруд пруди.

Однажды в школу назначили нового директора. Директоров в Ленинграде тоже хоть пруд пруди. Большой город.

Новый директор, отставной замполит и серьезный мужчина с партийно-педагогическим образованием, собрал учительский коллектив и произнес речь по случаю вступления в должность. Доложил данные своей биографии, указал на недочеты во внешнем виде личного состава — юбки недостаточно длинны, волосы недостаточно коротки, брюки недостаточно широки, а курить в учительской нельзя; план-конспекты уроков приказал за неделю представлять ему на утверждение. Это, говорит, товарищи учителя, не школа, а, простите, бардак! Но ничего, еще не все потеряно — вам повезло: теперь я у вас порядок наведу.

— А это, — спрашивает, — что такое? — И указывает в окно.

Это, говорят, площадь. Вернее, сквер. А что?

Нет — а вот это? В центре?

А это, охотно объясняют ему, скульптура. Лаокоон и двое его сыновей, удушаемые змеями. Древнегреческая мифология. Зевс наслал двух морских змеев. Ваял великий Фидий. Мраморная копия знаменитого скульптора Паоло Трубецкого.

— Вот именно, — говорит директор, — что ваял... Трубецкой! Вы что — не отдаете себе отчета?

В чем?..

— А в том, простите, что это — школа! Совместная притом. Здесь и девочки учатся. Девушки, к сожалению. Между прочим, вместе с мальчиками. Подростками. К сожалению. В периоде... созревания... вы меня понимаете. И чему же они могут совместно научиться перед такой статуей? Что они постоянно видят на этой, с позволения сказать, скульптуре?

А что они видят?..

Вы что — идиоты, или притворяетесь? — осведомляется директор. В армии я бы сказал вам, что они видят! Перед школой стоят голые мужчины... во всех подробностях! здесь что — медосмотр? баня? а девочки, значит, на переменах играют вокруг этого безобразия! Набираются, значит... ума-разума!

Тут учитель рисования опять объясняет: это древнегреческая статуя, Лаокоон и двое его сыновей, удушаемые змеями; мраморная копия знаменитого скульптора Паоло Трубецкого. Произведение искусства. Оказывает благотворное эстетическое воздействие. Шедевр, можно сказать, мирового искусства.

Шедевр?! говорит директор. А вот скажите мне, вы, очень образованный — что это вот там у них! вот там, вон! вот там! Змеи... нет, не змеи. Змеи тут ни при чем!! Да-да, вы прекрасно понимаете, что я имею в виду, сам мужчина!

Рисовальщик обращается за научной поддержкой к учительнице истории. А директор ей:

— Вы сами сначала декольте подберите!.. или вас тоже этот Трубецкой уже ваял?

Позвольте, разводят руками уже все учителя на манер ансамбля танца Моисеева, это древнегреческая статуя, Лаокоон...

Мы с вами не в Древней Греции, кричит директор, обозленный этим интеллигентским идиотизмом. Или вы не знаете, в какой стране вы живете? Время перепутали? Или сегодня с утра по радио объявили построение рабовладельческого строя?! Интересно, а что-нибудь о Моральном кодексе строителя Коммунизма вы слышали? а ученикам своим говорили? А в ваши обязанности входит их воспитывать как? — именно вот в указанном духе! А вы им — что каждый день суете под нос? Может, вы еще голыми на уроки ходить придумаете?

Учителя еще пытаются вякать: мол, это вообще у древних эллинов была традиция такая — культ тела, гимнастикой занимались обнаженными... Так, говорит директор. Вот и договорились, наконец. Гимнастикой, значит — обнаженными? А арифметикой? И учителю физкультуры: а вы что скажете про гимнастику? Это что — правда? Физрук говорит — помилуйте... у нас на физкультуре все в трусах... в футболках. — Вот именно! Еще не все, значит, с ума сошли. Вы слышали, что сказал разумный человек?

Короче — завхоз: убрать это безобразие. Мы по своему долгу призваны любой разврат пресекать и предупреждать! а мы детей к разврату толкаем! Сегодня она это видит у этого вашего... Лаокоона, а завтра что она захочет? и чем это кончится?

Завхоз говорит: простите, это в ведении города... управления культуры... наверно, и общество охраны памятников причастно... я не могу.

Ах, не можешь? А что вы тут можете — пионерок мне растлять мужскими... органами?! комсомолок?! И не сомневайтесь — я на этих змеев, видите ли, с яйцами, управу найду! перед учреждением детского образования!..

И директор начинает накручивать телефон: решать вопрос. А человек он напористый, практический, задачи привык ставить конкретно и добиваться оперативного исполнения.

И вот, так через недельку, как раз перед большой переменной, приезжает «Москвич»-полугрузовичок. Из него вылезают двое веселых белозубых ребят, вытаскивают ящик с инструментами, и начинают при помощи молотка и зубила приводить композицию в культурный вид.

Кругом собирается народ и смотрит это представление, как два веселых каменщика кастрируют, значит, двухполовинойтыщелетних греков. Стук! стук! — крошки летят.

В толпе одни хохочут, другие кричат: варвары! вандалы! блокаду пережили, а вы! кто приказал?

Учитель рисования прибежал, пытается своим телом прикрыть. Голосит:

— Фидий! Зевс! Паоло Трубецкой! Вы ответите!

Отойди, отвечают, дядя, пока до тебя не добрались! А то как бы мы от шума не перепутали со своим зубилом, кому его приставлять и

куда молотком стучать.

Особенно мальчики из старших классов довольны. Советы подают. Давай их, говорят, развратников, чтоб по ночам онанизмом не занимались. Ребя, хорошо если они только статуями ограничатся, а если они с них только начинают? тренируются, руку набивают! Ниночка, а вот скоро и нас так, — ты плакать будешь? а вот тогда будет поздно! Разрешите, обращаются к скульпторам, пока в туалет сбегать, а то потом не с чем будет. А вот, говорят, у Сидорова из десятого «Б» тоже надо лишку убрать, можно его к вам привести? Лови Сидорова!

Короче, веселая была перемена, еле после звонка на урок всех загнали. А за окнами: стук-стук!

Справившись с основной частью работы, ребята взяли напильники и стали эти места, значит, зачищать, изглаживать все следы бывшего заподлицо с торсом, если можно так выразиться. В толпе восторг, с рекомендациями выступают. Керосином еще протрите — от насекомых! За что это их, родимых? А чтоб не было группового изнасилования, бабушка. Вот теперь больше школьницы беременеть не будут! Ребята, вы уже вспотели, недели бы им лучше презервативы просто, и дело с концом. Да... радикальные меры.

Лишили древних страдальцев не потребных школе подробностей, сложили инструменты и отбыли.

И всю неделю Петроградская ходила любоваться, кому делать нечего, на облагороженную группу.

Но учитель рисования тоже настырный оказался, пожаловался куда мог, потому что через недельку снова приехал полугрузовичок, и из него выгрузились те же двое веселых белозубых ребят. Они врубили дрель и просверлили каждому на соответствующем месте узкую дырку.

Опять толпа собралась, народ хохочет и советы подает, обменивается мнениями. Кто считает, что надо волосы кругом изобразить, кто высказывается, чего статуи будут делать посредством этой дырки и какую функцию она будет исполнять. Узковата, считают, но это лучше, чем наоборот.

Говорят, что первые операции по перемене пола были сделаны на Западе. Ерунда это и пропаганда.

А ребята достают три бронзовых штифта и ввинчивают каждой статуе по штифту. Бронза свежеработанная, блестит, и солнце на

резьбе играет.

Из толпы интересуются:

— Резьба-то левая, небось?

— А вот на каждую хитрую... найдется штифт с левой резьбой!

— Вот у кого металлический! Сделали из мальчуганов мужчин.

— Васька, вот бы тебе такой?

— Вот это я понимаю реставрация. Не то что раньше.

— Ребята, а какой скульптор автор проекта?

И в прочем том циничном духе, что твердость хорошая, и длина сойдет, но диаметр мал.

Ребята достают из своего ящика три гипсовых лепестка, и навинчивают их на штифты. И отец с двумя сыновьями начинают при этом убранстве очень прилично выглядеть — с листиками.

Толпа держится за животы. Что ж вы, укоряют, только лепестки пришпандорили — а где все остальные прелести, меж которых тот лепесток относился? Наконец-то, говорят, вернули бедным отобранную насильно девственность.

Если бы кругом стояли сплошные учителя рисования и истории, то, возможно, реакция была бы иной, более эстетичной и интеллигентной. А так — люди простые, развлечений у них мало: огрубел народишко, всему рад. Не над ними лично такие опыты сегодня ставят — уже счастье!

А поскольку ленинградцы свой город всегда любили и им гордились, то еще неделю вся сторона ходит любоваться на чудо мичуринской ботаники, — как на мраморных статуях работы Паоло Трубецкого выросли фиговые листья.

Но, видимо, учитель рисования был редкий патриот города, а может, он был внебрачный потомок Паоло Трубецкого, который и сам-то был чей-то внебрачный сын. Но только он дозвонился до Министерства культуры и стал разоряться: искусство! бессмертный Фидий!..

Из Министерства холодно поправляют:

— Вы ошибаетесь. Фидий здесь ни при чем.

— Ах, ни при чем?! Греция! история!..

— Это, — говорят строго, — Полидор и Афинодор. Ваятели с Родоса. Вы, простите, по какой специальности учитель?

А по такой специальности, что дело может попасть в западные газеты как пример вандализма и идиотизма. Тут уже ошивались иностранные корреспонденты с фотоаппаратами, скалились и за головы брались.

— А вот за этот сигнал спасибо, — помолчав, благодарят из Министерства. — Где там ваш директор? позовите-ка его к трубочке!

И эта трубочка рванула у директорского уха, как граната — поражающий разлет осколков двести метров. Директор подпрыгнул, вытянулся по стойке смирно и вытаращился в окно. Икает.

Назавтра директор уволил учителя рисования.

А еще через недельку приехал все тот же полугрузовичок, и из него, как семейные врачи, как старые друзья, вышли двое веселых белозубых ребят со своим ящиком. Как только их завидели — в школе побросали к черту занятия, и учителя впереди учеников побежали смотреть, что же теперь сделают с их, можно сказать, родными инвалидами.

Ребята взяли клещи и, под болезненный вздох собравшихся, сорвали лепестки к чертям. Потом достали из ящика недостающий фрагмент и примерили к Лаокоону.

Толпа застонала. А они, значит, один поддерживает бережно, а второй крутит — навинчивает. Народ ложится на асфальт и на газоны — рыдает и надрывается:

— Покрути ему, родимый, покрути!

— Да почеси, почеси! Да не там, ниже почеси!

— Поцелуй, ох поцелуй, кума-душечка!

— Укуси его, укуси!

— Ты посторонись, а то сейчас брызнет!

Ну полная неприличность. Такой соцавангардный сексэппенинг.

Мастера навинтили на бронзовые, стало быть, штифты все три заранее изваянных мраморных предмета, и отошли в некотором сомнении. И тут уже толпа поголовно рухнула друг на друга, и дар речи потеряла полностью — вздохнуть невозможно, воздуху не набрать: — и загрохотала с подвизгами и хлюпаньем.

Потому что ведь у античных статуй некоторые органы, как бы это правильно выразиться, размера в общем символического. Ученые не знают точно, почему, но, в общем, такая эстетика. Может, потому, что у атлетов на соревнованиях вся кровь приливает к мышцам, а прочие

места уменьшаются. Может, чтобы при взгляде на статую возникало восхищение именно силой и красотой мускулатуры, а вовсе не иные какие эротические ассоциации. Но, так или иначе, скромно выглядят в эротическом отношении древние статуи.

У этих же вновьпривинченные места пропорционально соответствовали примерно монументальной скульптуре «Перекуем мечи на орала». Причем более мечам, нежели оралам. Так на взгляд в две натуральных величины. И с хорошей натуры.

Это резко изменило композиционную мотивацию. Сразу стало понятно, за что змеи их хотят задушить. Очевидны стали их грехи перед обществом.

Общее мнение выразила старорежимная бабуся:

— Экие блудодеи! — прошамкала она с удовольствием и перекрестилась. — Охальники!..

— Дети! дети, отвернитесь!!! — взывала учительница истории. — Товарищи — как вам не стыдно!

Теперь скульптурная группа являла собою гимн плодородию и мужской мощи древних эллинов. Правда, фигуры нельзя было назвать гармоничными, но пропорции настолько вселяли уважение и зависть, что из толпы спросили:

— Ребята, а у вас там больше нету в ящике... экземпляров? Можно даже чуть поменьше. Литр ставлю сразу.

— Это опытные образцы, или уже налажено серийное производство?

— Мужики — честно: у жены сегодня день рождения, окажите и мне помощь — порадовать хочу.

Мечтательное молчание нарушил презрительный женский голос:

— Теперь ты понял, секилявка, что я имела в виду?

И следующую неделю уже весь город ездил на Петроградскую смотреть, как расцвели и возмужали в братской семье советских народов древние греки.

— Теперь понятно, почему они были так знамениты, — решил народ. — Конечно!

— И отчего они только такие вымерли?

— А бабы ихние не выдержали.

— Нас там не было!

— А жаль!..

— Жить бы да жить да радоваться таким людям...

— Люся! одна вечером мимо дома ходить не смей.

— Почему милицию для охраны не выставили?

— Это кого от кого охранять?

— Это что, памятник Распутину? Вот не знал, что у него дети были...

Но ни одна радость не бывает вечной. Потому что еще через неделю прикатил тот же самый автомобильчик, и из него вылезли, белозубо скалясь, те же самые ребята.

Собравшаяся толпа была уже знакома между собой, как завсегдатаи провинциального театра, имеющие абонемент на весь сезон.

Ребята взялись за многострадальные места, крикнули, натужились, и стали отвинчивать.

— А не все коту масленица, — согласились в толпе.

— Все лучшее начальству забирают...

Отвинтив, мастера достали из своего волшебного ящика другой комплект органов, и пристроили их в надлежащем виде. Новые экспонаты были уже в точности такого размера, как раньше.

Толпа посмотрела и разошлась.

Теперь все было в порядке. Лошадь вернули в первобытное состояние.

...Но мрамор за сто лет, особенно в ленинградских дождях и копоти, имеет обыкновение темнеть. И статуи были желтовато-серые.

Новый же мрамор, свежеобработанный, имел красивый первозданный цвет — розовато-белый, ярко выделяющийся на остальном фоне. И реставрированные фрагменты резким контрастом примагничивали взор. И школьницы, даже среднего и младшего возраста, проявляли стеснительный интерес: почему это вот здесь... не такое, как все остальное...

Старшие подруги и мальчики предлагали свои объяснения. В переводе на цензурный язык сопромата, сводились они к тому, что поверхности при трении снашиваются. Уверяли и предлагали проверить экспериментальным способом для последующего сравнения.

Но обвиненные в развороте статуи и на этом ведь не оставили в покое. Трудно уж сказать, кто именно из свидетелей надругательства и

куда позвонил, но только опять приехал «Москвичок» с ребятами, которые оттуда уже не вылезли, а выпали, хохоча и роняя свой ящик.

Их приветствовали, как старых друзей и соседей: что же еще можно придумать?.. А мастера достали какой-то серый порошок, чем-то его развели, размешали, и сероватой кашицей замазали бесстыдно белеющие места. И сверху тщательно заполировали тряпочками.

Тем вроде и окончилась эта эпопея, замкнув свой круг.

Но униженный и оскорбленный директор не сдался в намерении добиться своего. И через пару месяцев скульптуру тихо погрузили подъемным краном на машину и увезли. А поставили ее во дворе Русского музея, среди прочих репрессированных памятников царской столицы, и как раз рядом с другой статуей Паоло Трубецкого — конным изображением Александра Третьего. Того сняли в восемнадцатом году со Знаменской площади, переименовав ее в площадь Восстания. Не везло Паоло Трубецкому в Ленинграде.

Куда потом эту статую сплавил — неизвестно, и по прошествии лет в Русском музее уже тоже никто не знает...

Но история осталась. А поскольку в Одессе и ныне стоит мирно точно такая же композиция, авторская копия самого же Паоло Трубецкого, сделанная по заказу одесского градоначальника, которому понравилась эта работа в императорском Санкт-Петербурге, и он захотел украсить свой город такую же, — про свой город ревнивые и патриотичные одесситы тоже потом рассказывали эту историю. Хотя с их-то как раз скульптурой никогда ничего не случилось, в чем каждый может лично убедиться, подойдя поближе и осмотрев соответствующие места.

Однажды приятель-одессит рассказал эту историю отдохавшему там прекрасному ленинградскому юмористу Семену Альтову. И Сеня написал об этом рассказ. Лаокоона он переделал в Геракла, сыновей и змей убрал вовсе, школу заменил на кладбище, и умело сосредоточил интригу на генитальных, если можно так выразиться, метаморфозах. Но все равно рассказ получился прекрасный, очень смешной, и публика всегда слушала его с восторгом.

Баллада о знамени

*«Знамя есть священная херугва, которая...
которой...»*

А. Куприн, «Поединок».

Боевых офицеров, которые дожили до конца войны — и не были потом уволены в запас — распихали по дальним дырам; подальше от декабристского духа. А то — навидались Европы, мало ли что. И они тихо там дослуживали до пенсии, поминая военные годы.

И торчал в глуши огромного Ленинградского Военного Округа обычный линейный мотострелковый полк. Это назывался он уже в духе времени — мотострелковый, а на самом деле был просто пехотный.

И командовал им полковник, фронтовик и орденосец, служба которого завершалась в этом тупике. В войну-то звания шли хорошо — кто жив оставался, а в мирное время куда тех полковников девать? дослуживай... Не все умеют к теплому местечку в штабе или тем более на военной кафедре вуза пристроиться. А этот полковник мужик был простой и бесхитростный: служака.

Жизнь в полку скучная, однообразная: гарнизонное бытёе. Слава и подвиги — позади. Новобранцы, учения, отчеты, пьянки и сплетни. Рядом — деревенька, кругом — леса и болота, ни тебе погулять, ни душу отвести.

А уж в деревне житье и вовсе ничтожное. Бедное и серое.

И только дважды в год сияло событие — устраивался парад. Это был праздник. В парад полковник вкладывал всю душу, вынимая ее из подчиненных. За две недели начинали маршировать. За неделю сколачивали на деревенской площади перед сельсоветом трибуну и обивали кумачом. Изготавливали транспаранты, прилепляли на стены плакаты. Сержанты гоняли солдат, офицеры надраивали парадную форму и нацепляли награды, технику красили свежей краской, наводя обода и ступицы белым для нарядности — все приводили в большой ажур.

И в радостные утра 7 Ноября и 1 Мая вся деревня загодя толпилась за оцеплением вокруг площади. Деревенское начальство и старшие офицеры — на трибуне. Комендантский взвод, в белых перчатках, с симоновскими карабинами, вытягивал линейных. Полковой оркестр слепил медью и рубил марши. И весь полк в парадных порядках, р-равнение направо, отбивал шаг перед трибуной. Все девять рот всех трех батальонов. Открывала парад, по традиции, разведрота, а завершал его артдивизион и танковая рота. В конце шли даже, держа строй, санитарные машины санчасти и ротные полевые кухни — все как есть хозяйство в полном составе.

Народ гордился, пацаны орали, офицеры держали под козырек, а во главе, в центре трибуны, стоял полковник, подав вперед грудь в боевых орденах, и отечески упивался безукоризненной готовностью своего полка. Все свое армейское честолюбие, всю кровную приверженность старого профессионала своему делу являл он в этих парадах.

А впереди всей бесконечной стройной колонны — знаменосец! — плыл двухметрового роста усатый и бравый старшина, полный кавалер орденов Славы. Это уже была просто местная знаменитость, любимец публики. Пацаны гордились им, как чем-то собственным, и спорили, что, поскольку он полный кавалер Славы, то он главнее офицеров, и старше только полковник.

А после парада был гвоздь программы — *пиво!* Надо знать жизнь глухой деревушки того времени, чтобы оценить, что такое было там — пиво; да еще для солдата. Дважды в год полковник усылал машину в Ленинград и всеми правдами и неправдами изыскивал средства и возможности купить три бочки пива. Каждому по кружке. Эти бочки закатывались в ларек, пустовавший все остальное время года, и вышедший с парадной дистанции личный состав в четко отработанной последовательности (это тоже входило в ночные и дневные репетиции!) выпивал свою кружку. А население кормили из дымивших, только что прошедших парадом полевых кухонь. Колхозников, естественно, было куда меньше, чем солдат в полку, и в этот-то уж праздничный день они наедались от пуза. И, таким образом, убеждались в смысле плаката на избе-читальне: «Народ и армия едины!»

Хороший был полковник. Слуга царю, отец солдатам.

И вот, значит, проходит такой первомайский парад. Оркестр ликует и гремит. Линейные замерли — штыки в небо, флажки на них плещутся. И с широкой алой лентой через плечо шагает старшина, колотя пыль из деревенского плаца, и в руках у него Знамя полка — 327-го гвардейского ордена Богдана Хмельницкого Славгородского мотострелкового — бахрома золотом, георгиевская лента по ветру бьет, орден в углу эмалью блещет, и буквы дугой через красное поле. А по бокам его, на полшага сзади — ассистенты при знамени, статные юные лейтенанты, серебро шашек в положении на-краул искрами вспыхивает.

И за ними — со своей песней, с лихим присвистом — разведрота марширует.

Музыка сердца! Сильна непобедимая армия, жив фронтовой дух!

И, миновав дистанцию церемониального марша и свернув за угол единственной деревенской улицы, старшина-знаменосец подходит к ларьку. Кружки уже налиты, кухонный наряд в белых куртках и колпаках готов к раздаче — да чтоб без проволочек! полторы тыщи рыл участвуют в параде, и каждому по кружке надо в отмеренные минуты!

И старшина, как знаменосец и заслуженный фронтовик, по традиции получает первым, и не одну кружку, а две. Первую он выпивает залпом, под вторую закуривает дорогую, командирскую, по случаю торжества, папиросу «Казбек» и уже через затяжку вытягивает пивко по глоточку и со вкусом. Парад окончен.

Теперь — в гарнизон, столы уже накрыты, столовая украшена: праздничный обед. К этому обеду полковник приказывал резать кабана из подсобного хозяйства, баранов, закупить в деревне соленых огурцов, и давал ротным негласное указание организовать наркомовские сто граммов всему личному составу — без рекламы, так сказать. Во славу оружия и память Победы.

Хороший был полковник. Больше таких уже нет. Полк за ним — в огонь и в воду. И у командования на прекрасном счету, в пример всем ставили. Но — не продвигали... Не то он когда-то где-то сказал не то, или по возрасту попал в неперспективные, или замполит про сто граммов стучал в политотдел дивизии... В общем, вся его жизнь была — родной полк, и как апофеоз службы — эти парады.

Значит, старшина выбрасывает окурок, ставит с сожалением пустую кружку, и протягивает руку за знаменем, которое, свернув, прислонил к ларьку сбоку...

Не стоит там что-то знамя. Это он перепутал — он его с другого бока прислонил.

Смотрит он с другого бока: нету. Нету там знамени.

Странно. Ставил же. Сзади, значит, поставил...

Но только сзади ларька знамени тоже нету.

Старшина спрашивает лейтенантов-ассистентов:

— Ребята, у кого знамя?

Они на него смотрят непонимающе:

— Как у кого? Ты ж его из рук не выпускал.

— Да вот, — говорит, — поставил здесь...

Они вместе смотрят ларек со всех сторон — нет, у ларька знамя не стоит.

Начинают вертеть головами по сторонам. Взять никто не мог. Кругом в пулеметном темпе полк пиво пьет повзводно и поротно, и вольным шагом марширует в расположение.

— А кто сегодня дежурный по посту № 1? Во балда! Не иначе разводящий распорядился сдуру знамя сразу после парада доставить на место — и отрядил караульных прямо к концу церемониального марша. Так спрашивать же надо! салаги...

Старшина с ассистентами, спрятавшими пашки в ножны, идет в штаб полка, к знаменной витрине, где на посту № 1 стоит с автоматом «на грудь» часовой.

Пуста витрина.

— Знамя где? — спрашивает старшина у часового.

Тот от удивления начинает говорить, что ему на этом почетном посту категорически запрещено:

— Как это? Так вы же знаменосец...

— Тебе его что — не приносили?

— Кто?

— Ну... внешний караул...

— Никак нет. А что — должны были?

Идут к начальнику караула:

— Знамя ты брал?

Тот смеется — оценил шутку.

— Ага, — говорит. — Пусть, думаю, повисит немного над КПП, чтоб сразу было всем видно, что они входят не куда-нибудь, а в гвардейский орденосный полк.

— Ну же ты мудака!! Где оно?!

— Да вы чего?.. Я ж так, ребята... шучу... а что?

— Шутишь?! ничего. Молчи... понял?!

У старшины делается все более бледноватый вид, и пышные усы постепенно обвисают книзу. Лейтенанты-ассистенты — те откровенно мандражируют. И они начинают перерывать полк: какой идиот взял знамя и где его теперь держит.

Возвращаются к ларьку. Там уже свернуто все пивное хозяйство.

— Не, — говорит ларечник, — вы что. Ничо не видел. Да ты ж его из рук не выпускал.

— Не выпускал, — мрачно басит сержант, сделавшийся ниже ростом.

Может, в кабинет командира полка занесли? Или к начштаба?

Идут обратно в штаб. Нет — пусто. Во все окна заглянули. Только часовой у пустой витрины смотрит выжидательно, болван.

Они проходят по всем ротам. Идут в автопарк: может, знамя у ларька упало, соскользнуло по стенке, и кто-то в толчее его поднял и положил, например, на броню, и так на танке оно в парк уехало.

Нет; нету.

Дежурный по парку сильно удивляется вопросу и, конечно, тоже ничего не видел.

Тем временем полк окончил праздничный обед. Половина солдат валит в увольнение: сбрасываться на самогон, драться в очередь вокруг четырех деревенских девок и склонять к любви средний школьный возраст. Офицеры компаниями шествуют по домам — за столы с выпивкой и закуской. Тихо в расположении. И нет нигде знамени.

Человек, не служивший в Советской Армии первого послевоенного десятилетия, а тем паче вообще штатский, ужаса и масштаба происшедшей трагедии оценить не может. В лучшем случае он слышал, что высший знак солдатской доблести — это трахнуть бабу под знаменем части. Сейчас, когда лейтенант в автобусе не уступает место полковнику, когда и солдат не солдат, и офицер не офицер, и присяга не присяга, и армия развалилась на части, и не то что знамена — крейсера крадут и танковые колонны продают контрабандой за

границу, — сейчас старая сталинского закала армия может восприниматься только как седая легенда. Потому что колхозный парень в армию шел как за счастьем: сытная еда! теплая красивая одежда! простыни, одеяло, койка! а через три года — паспорт в руки — и свободен, езжай куда хочешь! А посреди службы — десятидневный отпуск домой! Это ж был солдат. Не то, что ноне, когда призванный в воздушный десант не может раз подтянуться на турнике. А офицер был — белая каста! Диагоналевая форма, паек, оплаченная дорога в отпуск, две тысячи зарплаты у взводного — офицер был богатый и уважаемый человек, и ездил исключительно в купейном, а от майора — полагалось в мягком вагоне.

И отсутствие Знамени части — это кошунственнее, чем попасть в плен. Это граничит с изменой Родине. Это трибунал и вечный несмываемый позор. Это... это невообразимо, невозможно! За знамя можно умереть, спасти его ценой своей жизни, вынести простреленным на собственном теле, встать на колени и поцеловать; в самом крайнем случае его можно склонить над телом павшего героя. Но лишиться его принципиально невозможно ни в коем случае. Провалился белый свет! — но знамя должно быть сохранено.

И вот кругом весеннее солнце и пролетарский веселый праздник, а знамени нет. Законы чести рекомендуют выход единственный — застрелиться. Потому что второй выход, по законам чести, — это сначала с тебя перед строем сорвут погоны, а уже после этого ты можешь, опять же, застрелиться.

Но старшина — все-таки не офицер, и вообще он чудом уцелел, пройдя насквозь такую войну, и стреляться он не хочет. Тем более что у него семья и дети. И вообще знамя еще не пропало, оно явно ведь где-то здесь есть, должно найтись.

Лейтенанты-ассистенты, которые по статуту церемонии призваны охранять со своими шашками вышеуказанное знамя, стреляться также не хотят. Они его в руках не держали, у них его не отбирали, чего ж им стреляться. Им еще жить да жить...

Они втроем еще раз и еще перерывают полк со всем его хозяйством вдоль и поперек — и нигде знамени нет. Его нет в Ленинской комнате, нет у полкового художника, нет в оркестре среди их тромбонов и геликонов, и нет даже на свинарнике в подсобном хозяйстве. На кухне нет, на стрельбище нет, и в санчасти тоже его нет.

А все уже обращают внимание, что они рыщут где ни попадя тройцей, и вид у них прибабахнутый. И на вопросы они не отвечают. А что тут ответишь? Что святыня части как-то ненароком потерялась?

Вечером один лейтенант говорит:

— Ну что... Надо докладывать.

Старшина — с мертвой безжизненностью:

— Кому?..

— Кому... По команде... дежурному по полку.

Старшина садится на завалинку, закрывает глаза и говорит:

— Докладывать будет старший по званию.

Лейтенанты хором говорят:

— Вот уж хрен тебе. Я дежурному докладывать не буду. Знамя поручено знаменосцу, вот ты и докладывай.

Старшина говорит:

— Я дежурному докладывать не буду. По уставу докладывает старший.

— По уставу тебя расстрелять перед строем за утерю знамени!

— Верно, — соглашается старшина. — Я буду стоять перед тем строем посередине, а вы по бокам.

В конце концов они втроем идут в дежурку, и там лейтенанты все-таки выпихивают старшину вперед:

— Ты фронтовик, кавалер Славы, не офицер, тебе простят... а нам — все: конец, суд офицерской чести — и в любом случае пинка под зад из армии, даже если оно найдется.

И старшина докладывает:

— Товарищ гвардии капитан... так и так... в общем... плохо все...

— Что такое? — весело спрашивает усатый гвардии капитан, принявший стакан по случаю праздника. — А по-моему — неплохо!

— ЧП...

— Ну, какое еще такое ЧП? Чего это у тебя, старшина, рожа такая невеселая, будто ты Знамя полка потерял?

Старшина белеет от такой пронизательности, и бормочет через силу:

— Так точно...

— Что — так точно?

— Ну... что вы сказали...

— Что я сказал? — удивляется капитан.

— Это... нету...

— Чего нету-то?

— Исчезло...

— Что исчезло?! Да доложи толком!

— Знамя...

— Какое знамя? — глупо переспрашивает дежурный.

— Какое у нас... полка.

— Чего-о?!

У капитана усы дыбом, глаза квадратные, фуражка на затылок скачет.

— Тьфу! — говорит. — Вы сколько выпили, чтобы так шутить? Ну — они-то молодые, но ты — фронтовик, служака: разве этим шутят?

— Да я, — говорит старшина, — понимаю. Я не шучу.

— Что значит?!

Дежурному делается худо, и он отказывается осознавать происшедшее. Он долго и мучительно привыкает, что это и вправду произошло, потому что этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. И вот ему — как? за что? среди бела дня! — на его дежурстве!! такое ЧП. Это просто наихудшее, что вообще может быть. А с кого первая башка долой — с дежурного. Он отвечает за порядок в полку. О Господи!

Чего делать-то? А чего делать... надо докладывать командиру полка. Вот радость ему на праздничек. Кондратий бы не хватил.

Дежурный принимает решение: объявляет.

— В общем так. Я докладывать командиру не буду. Не могу я такое докладывать! Сейчас семнадцать сорок. Смена дежурства в двадцать ноль-ноль. Чтобы до этого времени знамя нашли. Бери всех свободных от караула — и ищите где хотите! суки!!! гады!!!!

Срочно создается поисковая комиссия во главе с помдежем-старлеем и лихорадочно переворачивает полк. Ищут суки-гады — никакого результата.

В двадцать ноль-ноль капитан сдает дежурство другому комроты и докладывает — рубит голосом самоубийцы:

— За время моего дежурства в полку случилось чрезвычайное происшествие... исчезло Знамя части. Дежурство сдал!

— Дежурство принял! — отвечает новый дежурный. — Ха-ха-ха! И давно исчезло-то? Что, в деревню за самогоном пошло?

На лице прежнего дежурного вспыхивает неизъяснимое злорадство: принял! принял дежурство! не может он принять дежурство, если Знамя пропало! не должен! он тревогу трубить должен, поднимать всех! А он принял! это — полгоры с плеч свалилось!..

Он снимает с рукава повязку, передает ее заступившему дежурному; тот садится на его стул за стол в дежурке, и бывший дежурный говорит:

— Да вот эти... фашисты!.. потеряли Знамя после парада.

А новый дежурный, тепленький после праздничного обеда с водочкой, благодушно откликается:

— Ха-ха-ха!

— Докладывай! — приказывает бывший дежурный старшине. И тот повторяет свой душераздирающий доклад.

Новый дежурный синее, трезвеет, хренеет:

— В-в-вы чо... охренели?.. славяне!.. братцы... товарищи офицеры! Я, — говорит, — дежурство не принимаю!

— Ты его уже принял. Так что давай — действуй. ЧП у тебя!

— У меня ЧП?! У тебя ЧП!!!

Короче: я, говорит, командиру докладывать не буду. Искать!!! Всем!!! Везде!!! В восемь утра построение — вот вам время до восьми.

И всю ночь уже человек двадцать шатаются с фонарями по гарнизону, как спятившие кладоискатели, и роют где ни попадя: даже матрасы в казармах ворошат, и в ЗИПах смотрят... фиг: нету.

Утром является кинуть орлиный взор на свое образцовое хозяйство праздничный командир; и перекошенный капитан рапортует:

— Товарищ гвардии полковник! За время моего дежурства в полку чрезвычайных происшествий не случилось!

— Вольно.

— Но за время дежурства капитана Куманина случилось.

— Что — случилось?!

— Чрезвычайное происшествие! Пропало Знамя части...

Полковник с сомнением озирается на белый свет, проковыривает мизинцем ухо и принимает:

— А? Ты сколько выпил, гвардии капитан?

Так точно. В смысле никак нет. Вот. Пропало полковое знамя.

Когда вытаскивают большую рыбу, ее глушат колотушкой по голове. Значит, командир покачивается, глаза у него делаются отсутствующие, а на бровях повисает холодный пот. Ему снится страшный сон.

— Как... — шепчет он.

Вперед выпихивают несчастного старшину, который на ногах уже сутки, и старшина в десятый раз излагает, как он прислонил Знамя, как пил пиво, как бросил окурочек, и как Знамени на месте не оказалось.

Под командира подставляют стул, подносят воды, водки, закурить, и обмахивают его фуражками. И доводят до сведения о принятых мерах. Все возможное предприняли, не щадя себя...

И зловещая тень Особого отдела уже ложится на золотые погоны товарищей офицеров.

— Так, — говорит командир. — Так. Я в дивизию докладывать не буду. Что я доложу?! Я с этим знаменем до Одера!!! под пулями!!! Вы — что?! Старшина... ах, старшина... как же, ты что...

— Искать!!! — приказывает. — Всему личному составу — искать!!! Обед отменяется!!! Увольнения отменяются!!! Всех офицеров — в полк!!! не найдете — своей рукой расстреляю! на плацу!

И весь полк спует, как ошпаренный муравейник — свое знамя ищет. Траву граблями прочесывает. Землю просеивает! Танкисты моторные отделения открывают, артиллеристы в стволы заглядывают!

Нету знамени.

А это значит — нету больше полка.

Потому что не существует воинской части, если нет у нее знамени. Нет больше такого номера, нет больше такой армейской единицы. Вроде полк есть — а на самом деле его уже нет. Фантом.

Три дня командир сидит дома и пьет. И после каждой стопки, днем и ночью, звонит дежурному: как? Нету...

Докладывает в дивизию: так и так... Пропало знамя.

Там не верят. Смеются. Потом приходят в ярость. Комдив говорит:

— Я в армию докладывать не буду. Вот тебе двадцать четыре часа! — иначе под трибунал.

Ищут. Командир пьет. Дежурные тоже пьют, но ищут. И лейтенанты-ассистенты пьют — прощаются с офицерскими погонами

и армейской карьерой. Только старшина не пьет — он сверхсрочник, у него зарплата маленькая: ему уже не на что...

Комдив докладывает в армию, и диалог повторяется. Еще сутки пьют и ищут. И даже постепенно привыкают к этому состоянию. Это как если разбомбили тебя в пух и прах: сначала — кошмар, а потом — хоть и вправду ведь кошмар, но жить-то как-то надо... служба продолжается!..

Армия докладывает в округ. И все это уже начинает приобретать характер некоей военно-спортивной игры «пропало знамя». Все уже тихо ненавидят это неуловимое знамя и жаждут какого-то определения своей дальнейшей судьбы! И часовой исправно меняется на посту № 1, как памятник идиотизму.

Ну что: надо извещать Министерство Обороны. И тогда — инспекция, комиссия, дознание: полк подлежит расформированию...

И вся эта история по времени как раз подпадает под хрущевское сокращение миллион двести. И под этот грандиозный хапарай расформирование происходит даже без особого треска. Тут Жукова недавно сняли и в отставку поперли, крейсера и бомбардировщики порезали, — хрен ли какой-то полк.

Лишний шум в армии всегда был никому не нужен. Командира, учитывая прошлые заслуги, тихо уволили на пенсию. И всех офицеров постарше уволили. Молодых раскидали по другим частям. С капитанов-дежурных сняли по одной звездочке и отправили командовать взводами. С лейтенантов-ассистентов тоже сняли по звездочке и запихали в самые дыры, но ведь — «дальше Кушки не пошлют, меньше взвода не дадут...» Технику увели, строения передали колхозу. А старшину-знаменосца тоже уволили, никак более не репрессировав. Фронтвик, немолод, кавалер орденов Солдатской Славы всех трех степеней... жалко старшину, да и не до него... пусть живет!

И старшина стал жить... Ехать ему было некуда. Все его малое имущество и жена с детишками были при нем, а больше у него ничего нигде на свете не было. И он остался в деревне.

Его с радостью приняли в колхоз: мужиков не хватает, а тут здоровый, всем известный и уважаемый, военный, хозяйственный; выделили сразу старшине жилье, поставили сразу бригадиром, завел он огород, кабанчика, кур, — наладился к гражданской жизни...

Через год, на День Победы, 9 Мая, пришли к нему пионеры. Приглашают на праздник в школу, как фронтовика, орденосца, заслуженного человека.

У старшины, конечно, поднимается праздничное все-таки настроение. Жена достает из сундука его парадную форму, утюжит, подшивает свежий подворотничок, он надевает ордена и медали, выпивает стакан, разглаживает усы, и его с помпой ведут в школу.

Там председатель совета пионерской дружины отдает ему торжественный рапорт. На шею ему повязывают пионерский галстук — принимают в почетные пионеры. И он рассказывает ребятишкам, как воевал, как был ранен, и как трудно и героически было на войне, и как его боевые друзья клали свои молодые жизни за счастье вот этих самых детей.

Ему долго хлопают, и потом ведут по школе на экскурсию. Показывают классы, учительскую, живой уголок с вороной и ежиком. А в заключение ведут в комнату школьного музея боевой славы, чтобы он расписался в Книге почетных посетителей.

И растроганный этим приемом и доверчивыми влюбленными взглядами и щебетом ребятишек, старшина входит в этот школьный их музей боевой славы, и там, среди витрин с ржавыми винтовочными стволами и стендов с фотографиями из газет, меж пионерских горнов и барабанов, он видит *знамя их полка*.

Оно стоит на специальной подставке, выкрашенной красной краской, развернуто и прикреплено гвоздиками к стене, чтобы хорошо было видно.

И над ним большими, узорно вырезанными из цветной бумаги буквами, по плавной дуге, идет вразумительная поясняющая надпись:

ЗНАМЯ 327-ГО ГВАРДЕЙСКОГО

СЛАВГОРОДСКОГО ОРДЕНА БОГДАНА

ХМЕЛЬНИЦКОГО МОТОСТРЕЛКОВОГО ПОЛКА

подарено

пионерской дружине № 27 имени Павлика Морозова

командованием части

...Это его пионеры сперли. Для музея. Сказали учителям, что подарили. Учителя очень радовались.

...История умалчивает, что сказал старшина пионерам, когда пришел в себя, и что он с ними сделал. Также неизвестно, как он добрался до дома. Но по дороге он из конца в конец улицы погонял деревенских мужиков, намотав ремень с бляхой на кулак и сотрясая округу жутчайшим старшинским матом. Силен гулять, с восторженным уважением решили мужики.

Через час кабанчик был продан, а жена, в ужасе глотая слезы, побежала за самогоном. Курей старшина извел на закуску. И сказал жене, что ноги его в этой деревне не будет. Он вообще ненавидит деревню, ненавидит сельское хозяйство, а уж эту-то просто искоренит дотла. И завтра утром едет искать работу в Ленинград. Иначе он за себя не отвечает. Пионерскую дружину он передушит, школу сожжет, а учителей повесит на деревьях вдоль школьной аллеи.

Вот так в Ленинградском Нахимовском училище появился двухметровый, усатый и бравый старшина, который еще двадцать лет на парадах в Москве ходил со знаменем училища перед строем нахимовцев, с широкой алой лентой через плечо, меж двух ассистентов с обнаженными шашками, и по телевизору его знала в лицо вся страна.

Маузер Папанина

На Кузнечной площади, угол Кузнечного и Марата, стояла церковь. Она и сейчас там стоит, выделяясь желтым и белым среди закопченных бурых домов. Уже много лет в ней находится Музей Арктики и Антарктики, о чем извещает малочисленных посетителей лепная надпись на фронте. В зале под сводом висит самолет-разведчик Р-5 знаменитого некогда полярного летчика Бориса Чухновского, в стеклянных стеллажах — модели шхуны капитана Седова «Св. Фока» и прославленного ледокола «Красин», и прочие экспонаты: документы, фотографии и чучела всякой полярной живности. А в северном приделе можно увидеть черную многослойную палатку с белой надписью по низенькой крыше: «СССР.»; а по другому скату: «Северный полюс-1».

Это подлинная палатка, в которой шесть месяцев дрейфовала на плавучей льдине первая советская экспедиция к полюсу. В три маленькие иллюминатора видна неярко освещенная внутренность палатки: нары, закинутые меховыми шкурами, радиостанция, столик, примус, полка с книгами. Вот здесь и жила и работала легендарная четверка папанинцев.

А рядом с палаткой, в витрине, выставлены их личные вещи — ручка, унты, блокнот, — среди которых почетное место занимает маузер самого Папанина, висящий на тонком ремешке рядом со своей деревянной кобурой, украшенной серебряной дарственной пластинкой.

С этой вот палаткой и с этим маузером связана одна характерная для эпохи история.

Дело в том, что Иван Папанин был ведь не просто начальником научной экспедиции. Сам-то он был мужик простой и незамысловатый, комиссарского сословия, и занимал ответственный пост начальника Главсевморпути. И на льдине, затерянной в полярной ночи за тысячи миль от СССР, он осуществлял идейно-политическое руководство всеми сторонами жизни и деятельности остальных трех интеллигентов, лично отвечая, как испытанный и облеченный доверием партии коммунист, за все, что происходило на Северном полюсе.

Теперь давайте учтем, какой на дворе стоял год, когда они там прославляли советский строй на Северном полюсе. А год стоял как раз 1937. И здесь требовалась особая бдительность и политическая зрелость. Коварный враг внедрялся в любые ряды вплоть до ветеранов революции и командования Красной Армии, так что за моржей с белыми медведями ручаться и подавно нельзя было, не говоря уж об ученых-полярниках. Тем более что самолеты, доставив экспедицию, улетели, и никакой связи с Большой Землей с ее руководящими и карающими органами не было, кроме радио.

А радистом СП-1 был знаменитейший тогда Эрнст Кренкель, в неписаной табели о рангах — коротковолновик мира № 1. Подменять его было некому, исправность и ремонт рации лежали на нем же, — можно себе представить ответственность и постоянное нервное напряжение. Скиснет рация — и хана полярному подвигу.

К чести его, радиосвязь была безукоризненной, невзирая на разнообразнейшие сверхпоганые метеоусловия. Достоинства Кренкеля как радиста и полярника были выше всяческих похвал.

Но имелись у него, к сожалению, и два недостатка. Во-первых, он был немец, а во-вторых, беспартийный. В сорок первом году, конечно, эти два недостатка могли бы с лихвой перевесить любой букет достоинств, но, повторяем, это был всего лишь тридцать седьмой год, а радист он был уж больно хороший, и человек добродушный и выдержанный. Хотя и в 37 году вполне можно было пострадать, причем, как мы сейчас увидим, иногда совершенно неожиданным образом.

Кренкель четырежды в сутки выходил на связь, передавал данные метеорологических и гидрологических наблюдений и принимал приказы Москвы. А вот приказы были различного рода. Как диктовала политическая ситуация.

В стране шли процессы. Разоблачались империалистические шпионы. Проводились показательные суды. И вся страна негодовала в едином порыве, и так далее.

А советская дрейфующая полярная станция «Северный полюс-1» была частью социалистического общества. И, несмотря на географическую удаленность, оставаться в стороне от политических бурь никак, разумеется, не могла. Даже на льдине советские люди должны были возглавляться партийной организацией. Минимальное

количество членов для создания партячейки — три человека. И такая ячейка на льдине была! Это имело особое политическое значение. И секретарем партячейки был, конечно, сам Папанин.

В эту низовую парторганизацию с неукоснительным порядком поступала закрытая политическая информация — только до сведения коммунистов. Беспартийный Кренкель принимал эти сообщения, ставил гриф «секретно» и вручал парторгу Папанину.

А закрытую информацию надлежало обсуждать на закрытых партсобраниях. Папанин объявлял закрытое партсобрание — присутствовать могли только члены партии. Остальным надо было освободить помещение.

Остальные — это был Кренкель.

Помещение же на Северном полюсе имелось только одно, площадью в шесть квадратных метров, в чем и может удостовериться каждый, прочитав в музее табличку на палатке. Недоверчивый может измерить палатку сантиметром.

Реагировать на партийные сообщения следовало оперативно, чем скорей — тем себе же лучше. Буран не буран, мороз не мороз, а политика ЦК ВКП(б) превыше всего.

И вот Кренкель, проклиная все, рысил по снегу вокруг палатки, заглядывая в иллюминаторы — скоро ли они там кончат. Он тер варежкой нос и щеки, притопывал, хлопал руками по бокам, считал минуты на циферблате, и про себя, возможно даже, говорил разные слова про партию и ее мудрую политику.

Они там сидели на нарах, выслушивали сообщение, выступали по очереди со своим мнением, заносили его в протокол, вырабатывали решение насчет очередных врагов народа, голосовали, и составляли текст своего обращения на материк. А в конце, как положено, пели стоя «Интернационал».

Спев «Интернационал», Папанин разрешал Кренкелю войти, вручал ему это закрытое партийное сообщение, и Кренкель передавал его по рации.

Только человек гигантской выдержки и с чисто немецким безоговорочным уважением к любым правилам и инструкциям мог вынести полгода этого измывательства. А партийная жизнь в стране была ключом, и полгода Кренкель чуть не каждый Божий день бегал петушком в ледяном мраке вокруг палатки. Он подпрыгивал, приседал,

и мечтал, что он хотел бы сделать с Папаниным, когда все это кончится. Ловля белого медведя на живца была наиболее гуманной картиной из всех, что сладко рисовались его воображению.

Через неделю умный Кренкель подал заявление в партию. В каком приеме ему Папаниным было отказано по той же причине, по какой ему надлежало являться немцем. Не понять это мог только политически наивный человек, абсолютно не вникший в доктрины пролетарского интернационализма и единства партии и народа. Беспартийный немец Кренкель иллюстрировал собою на Северном полюсе многонациональную дружбу советского народа и нерушимую монолитность блока коммунистов и беспартийных. Так что все было продумано.

И беспартийный немец Кренкель кротко вламывал, как лошадь, потому как метель — не метель, ураган — не ураган, научные исследования можно и отложить, — а вот без радиосвязи остаться никак невозможно. От дежурства же по готовке пищи и уборке помещения его также, конечно, никто не освобождал.

Папанин, с другой стороны, на льдине немного скучал. А чем дальше — тем больше скучал. Научных наблюдений он не вел, пищи, как начальник, не готовил, — он руководил. И еще проводил политинформации. Политинформации проходили так.

Кренкель принимал по радио последние известия, аккуратно переписывал их и вручал Папанину. Папанин брал листок в руки и простым доходчивым языком пересказывал остальным его содержание. Излишне упоминать, что Кренкелю полагалось в обязательном порядке присутствовать на политинформациях. Более того, как беспартийному, а следовательно — политически менее зрелому, чем остальные, ему рекомендовалось проявлять большую, чем товарищам-коммунистам, активность, и вести конспект. Конспекты потом Папанин проверял, и если было записано слишком кратко или неразборчиво — велел переписать.

Политинформации проводились ежедневно. Этим деятельность Папанина исчерпывалась. Но поскольку командир не должен допускать, чтобы подчиненные наблюдали его праздным, а уронить свой престиж, занимаясь всякой ерундой, он не мог, то после политинформации он чистил личное оружие. Это занятие в данной последовательности служило, как он справедливо рассудил, как раз к

укреплению его командирского и партийного авторитета и лучшему пониманию политического момента и линии партии.

Он расстилал на столике тряпочку, доставал из кобуры маузер, из кобурного пенала вынимал отверточку, ежик, ветошку, масленку, разбирал свою 7,63 мм машину, любовно протирал, смазывал, собирал, щелкал, вставлял обойму на место и вешал маузер обратно на стойку палатки, на свой специальный гвоздик. После чего успокоенно ложился спать. Этот ежедневный процесс приобрел род некоего милитаристского онанизма, он наслаждался сердцем и отдыхал душой, овладевая своей десятизарядкой, и на лице его появлялось совершенное удовлетворение.

Постепенно он усложнял процесс чистки маузера, стремясь превзойти самого себя и добиться немислимого мастерства. Он собирал его на время, в темноте, с завязанными глазами, на ощупь за спиной, и даже одной рукой.

Кренкель, натура вообще миролюбивая, возненавидел этот маузер, как кот ненавидит прищепку на хвосте. Он мечтал утопить его в проруби, но хорошо представлял, какую политическую окраску могут придать такому поступку. И под радостное щелканье затвора продолжал свое политинформационное чистописание.

...Дрейф кончился, льдина раскололась, ледокол «Красин» снял отважных исследователей с залитого волнами обломка, Кренкель педантично радировал в эфир свое последнее сообщение об окончании экспедиции; и, окруженные восхищением и заботой экипажа, извещенные о высоких правительственных наградах — всем четверым дали Героя Советского Союза! — полярники потихоньку поехали в Ленинград.

В пути степень их занятости несколько поменялась. Гидролог с метеорологом писали научные отчеты, Кренкель же предавался сладкому ничегонеделью. А Папанин по-прежнему чистил свой маузер. За шесть месяцев зимовки, когда у любого нормального человека нервишки подсаживаются, это рукоблудие приобрело у него характер маниакального психоза.

Кренкель смотрел на маузер, сдерживая дыхание. Больше всего ему хотелось стащить незаметно какой-нибудь винтик и поглядеть, как Иван Дмитриевич рехнется, не отходя от своей тряпочки, когда маузер не соберется. Но это было невозможно: в 38 году такое могло быть

расценено не иначе как политическая диверсия — умышленная порча оружия начальника экспедиции и секретаря парторганизации. Десять лет лагерей Кренкелю представлялись чрезмерной платой за удовольствие.

Он подошел к вопросу с другой стороны. Зайдя к Папанину в его обязательное оружейное время, перед сном, он с ним заговорил, отвлекая внимание, — и украдкой подбросил на тряпочку крохотный шлифованный уголок, взятый у ребят в слесарке ледокола. И смылся от греха.

Оставшиеся пять суток до Ленинграда Папанин был невменяем.

Представьте себе его неприятное изумление, когда, собрав маузер, он обнаружил деталь, которую не вставил на место. Он разобрал его вновь, собрал с повышенным тщанием — но деталь все равно оставалась лишней!

Ночь Папанин провел за сборкой-разборкой маузера, медленно сходя с ума. Необъяснимая головомка сокрушала его сознание. Он опоздал к завтраку. Все время он проводил в каюте. И даже на встрече-беседе с экипажем, рассказывая об экспедиции, вдруг сделал паузу и впал в сосредоточенную задумчивость. Сорвался с места и ушел к себе.

В помрачении он собирал его и так, и сяк, и эдак. Он собирал его в темноте и собирал его на счет. Из-за его двери доносилось непрерывное металлическое щелканье, как будто там с лихорадочной скоростью работал какой-то странный агрегат.

Папанин осунулся и, подстригая усики, ущипнул себя ножницами за губу. Судовой врач поил его валерьянкой, а капитан «Красина» — водкой. Команда сочувственно вздыхала — вот каковы нервные перегрузки у полярников!

В последнюю ночь Кренкель услышал глухой удар в переборку. Это отчаявшийся Папанин стал биться головой о стенку.

Кренкель сжалился и постучал в его каюту. Папанин в белых кальсонах сидел перед столиком, покрытым белой тряпочкой. Руки его с непостижимой ловкостью фокусника тасовали и щелкали деталями маузера. Запавшие глаза светились. Он тихо подвывал.

— Иван Дмитриевич, — с неловкостью сказал Кренкель, — не волнуйтесь. Все в порядке. Это я просто пошутил. Ну — морская подначка, знаете...

Взял с тряпочки свою детальку и сунул в карман.

Бесконечные пять минут Папанин осознавал услышанное. Потом с пулеметной частотой защелкал своими маузеровскими частями. Когда на место встала обойма с патронами, Кренкель выскочил к себе и поспешно запер дверь каюты.

Команда услышала, как на «Красине» заревела сирена. Ревела она почему-то откуда-то из глубины надстройки, и тембр имела непривычный, чужой.

Кренкель долго и безуспешно извинялся. Команда хохотала. Папанин скрежетал зубами. Будь это на полюсе, он бы Кренкеля скормил медведям, но теперь покарать шутника представлялось затруднительным — сам же о нем прекрасно отзывался, в чем обвинишь? все только посмеются над Папаниным же.

Но всю оставшуюся жизнь Папанин люто ненавидел Кренкеля за эту шутку; что обошлось последнему дорого. Кренкель, потеряв на Северном полюсе всякий вкус к коллективным зимовкам и вообще став слегка мизантропом, страстно при этом любил Арктику и вынашивал всю жизнь мечту об одиночной зимовке. И за всю жизнь получить разрешение полярного руководства на такую зимовку он так и не смог. Папанин, будучи одним из начальников всего арктического хозяйства, давал соответствующие отзывы и указания.

Сам же Папанин, однако, резко излечился от ненормальной интимной нежности к легкому стрелковому оружию; а проклятый маузер просто видеть больше не мог — слишком тяжелые переживания были с ним связаны. И как только, вскоре после торжественного приема папанинцев в Кремле, был создан в Ленинграде Музей Арктики и Антарктики, пожертвовал туда в качестве ценного экспоната свой маузер, где он пребывает в полной исправности и поныне, в соседстве с небольшой черной палаткой.

Легенда о теплоходе «Вера Артюхова»

1. Черный бизнес

За долгий рейс моряк звереет. Советский человек и вообще-то зверь, а тут еще однообразие и ограниченный контингент окружающих рож идиосинкразию вызывает. При хорошем питании (а вся-то радость моряцкая — пожрать повкуснее) от отсутствия баб аж глаза заволакивает. Суда большие, остойчивые, автоматики до черта, — это тебе не в шторм по реям бегать, паруса вязать: неделями моряк не вылезает из жилых и рабочих помещений на свежий воздух. Ручки мягкие, ряшка белая, бока жирные, — привет от морского волка. Кормовые деньги гоняют из графы в графу, комбинируют, артельщик расстиляется: маслице голландское, куры датские, мука канадская, баранина австралийская; пожрал — и в загородку: торчи себе в койке за пологом интимным, как перст. Естественно, моряк делается нервным.

Он нервничает и считает свои валютные копейки, переводя их в центы, центы — во всякие хорошие вещи, вещи — в родные деревянные рубли, рублей получается много, и это его улаживает. На этом занятии он зацикливается, плюсует свои аж двадцать центов валютных в сутки по неделям и месяцам и в арифметических грезах обретает некоторое душевное равновесие среди неверных вод мирового океана.

Порт советского моряка унижает. Моряк марширует тройками в найдешевейшие лавки и злобно смотрит, как арабы с либерийских пароходов хохочут над ним из такси по пути в бордель и швыряются банками из-под пива. Для него такси — идиотская роскошь, проститутка — недоступная роскошь, пиво — редкая роскошь. Поэтому советский моряк любит китайцев. Китайцев в загранпорту вообще водят строем, в одинаковых синих казенных бумажных костюмчиках, и купить они не могут вовсе ничего: глаза бесплатно, насколько глаза раскрываются. А ведь за хлам из портовой лавчонки моряк и плавает. Дома он с добытым добришком — ковром, кроссовками, видеком, да еще если «тойотой» двадцатилетней подержанности, ветераном автосвалки, — является человеком зажиточным, ему завидуют соседи и норовят ограбить рэкетеры.

Вот от всего от этого моряк звереет. Предохранители в нем изнашиваются, разъедаются морской солью, и становится он взрывоопасен и непредсказуем, как мина-ловушка: ты и худого не чаешь, а она грохнет.

А в родном порту предусмотрены для него не психоаналитики, а обиралы-таможенники, и стресс он может разрядить способами исключительно дедовскими: водки врезать, бабу трахнуть, в морду вмазать: эффективные способы, но чреватые нежелательным побочным действием для кошелька, здоровья и биографии.

Особенно тяжело влететь в долгий фрахт. Везешь ты из Ленинграда в Амстердам прокат, а оттуда в Канаду станки, а оттуда в Японию пшеницу, оттуда в Африку автомобили, и болтайся так целый год, жди случая с попутным грузом вернуться домой. И эта неизвестность сроков дополнительно изматывает.

В тропиках хоть стакан сухаря ежедневно полагается. Якобы медицински, для здоровья, на деле же — чуток поднять дух. Ну, не шибко-то высоко с одного стакана сухого утомленный дух подпрыгнет, поэтому сговариваются по трое — и раз в три дня каждый высасывает объединенную бутылочку. Жданная радость, красная вежа календаря.

И вот таким макаром сухогруз «Вера Артюхова» которые сутки торчит в одном вшивом африканском порту. Когда трудолюбивые африканцы сподобятся их разгрузить — неизвестно; когда и чем грузиться — неизвестно; когда домой — неизвестно... И на берегу делать нечего, пустая нищета, ни глазу, ни карману...

И дуреет в горячей металлической тени вахтенный у трапа, чинарики заплевывает и на причал их щелкает меланхолично, томится в тоске. Минуты считает. Дожить бы до обеда, похлебать крошки из холодильника и лечь в каюте под вентилятор, о бабе мечтать.

Лишь полдень перевалил, солнце плавится в парном мареве, пекло и глушь на пирсе.

И из этой глуши выделяется некая фигура и шествует неторопливо и важно по направлению к трапу. Приблизившись, замирает у нижней ступени, ощупывает взглядом пространство и начинает подниматься.

Вахтенный протер глаза, прочистил мозги затяжкой: поднимается! Черный старичок, дохлая тростинка. Поймал его взгляд, убедился в обвисшем красном флаге на корме, закопченной красной полосе на

трубе, приосанился и неуверенно продолжает подниматься. Под каким ни попадя капиталистическим флагом можно от белого матроса и пинка получить. А советский негра ударить не может, им строго запрещено.

— Куд-да, — лениво цыкает вахтенный. — Гоу аут. Цурюк. Пошел на...

Этих на борт только пусти — по гайкам судно свинтят.

Негр-старичок осмотрительно останавливается за четыре ступени до верха, выпячивает куриную грудку и с достоинством рекомендуется:

— Ай хэв бизнес. Ченч. Вери чип.

А черт его знает. Вдруг у него что-нибудь интересное действительно вери чип.

Смешное чучело и трогательное: ножки черные из полотняных шортов торчат, рубашечка перелатана, а сверху грибом — облезлый английский колонизаторский шлем «здравствуй-прощай», долженствующий символизировать, что обладатель его — человек интеллигентный и не чуждый мировой цивилизации. На шейке куриной болтается на ремешке шнура амулет. Очевидно, для покровительства в большом бизнесе.

И нагрудные карманы отдуваются, набиты, уголки торчат засаленные разномастных купюр. Ну — большой бизнесмен пожаловал. Меняла. Ченчила. Деньги, значит, менять. Прямо на месте, и скидка меньше, чем в банке. Смотрит вопросительно:

— Ченч?..

Вахтенный бурчит, с ненавистью к жаре, Африке, своей проклятой нищенской доле, каковая ненависть и переносится на чучело перед ним:

— Совет рублес.

Негр дипломатично соглашается:

— Совет — гуд.

А чего — гуд-то? Ага. Хрена ему нужны рубли. Сейчас.

Вахтенный на него смотрит снуло, смотрит, на шейку черную, на карманы оттопыренные, и в глазах его пробултыхивается какая-то мысль. Оживают глаза. Угощает он негра сигаретой. Тот принимает с важной вежливостью, прикуривает, благодарит милордовским полупоклоном, пыхает — всем видом старается напоминать вроде как

Черчилля с его сигарой. А вахтенный снимает трубку телефона за люком на переборке и звонит приятелю в каюту:

— Слушай, — говорит, — постой пять минут у трапа, а? Что-то живот крутит, и вообще тошнит от этой жары, как бы тепловой удар не хватил.

Приятель мычит, блеет: что, зачем, неохота, будто нельзя в галльюн и так отлучиться?.. кое-как соглашается.

И вахтенный радушно приглашает старичка к себе в каюту: мол, прошу, почтенный бизнесмен, выпьем, покурим, дела наши финансовые обсудим. Конвоирует его по коридорам напористо и ехидно.

И никто еще не предполагает, что из этого выйдет.

2. На халяву и уксус сладкий

В каюте усадил он ченчилу в кресло, подвинул пепельницу, направил вентилятор, поставил стаканы: прием по полному протоколу. Тот тихо раздулся от собственной значительности.

А вахтенный берет телефон — другому приятелю: др-р-р!

— Слушай, ты пузырь еще не выжрал?

Приятель — осторожно:

— А тебе что? — И, с предвкушением блаженства: — Вот стемнеет, будет попрохладнее — захмелюсь, хоть чуток кайф словлю. А чего так, походя, без толку...

— А того, что у меня ченчила сидит, так он рубли на валюту меняет!

— Какой ченчила?

— Какой-какой. Нормальный, местный. По трапу притопал, все карманы оттопыриваются.

— Он че, рехнутый? Или ты?

— Да у него весь видок с придурью.

— Че за видок?

— Старенький, черненький, сморщенный, и обмундирование на нем английского колонизатора, который сто лет в обед от старости помер.

— Кто помер?!

— Колонизатор.

— Какой колонизатор?!

— Английский, идиот!

— Да пошел ты, сам козел!

— Стой, не бросай трубку, дура! Я его одного в каюте оставить не могу, ведь сразу скоммуниздит что-нибудь!

— Ты че, вообще, крыша поехала?! Кто скоммуниздит — колонизатор?! А помер кто?!

— Забудь о колонизаторе!!! Сидит негр-ченчила. Набит деньгами. Меняет на рубли. Понял?

— Понял. А что, рубль конвертировали, пока мы здесь? А колонизатор где?

— У меня в каюте!!! Негр!!!

— Колонизатор — негр?! У тебя??? Ты что, совсем екнулся!!!

— Сейчас приду к тебе — и удавлю на хрен!! Слушай: есть ченчила. Он негр. Он у меня в каюте. Он старый и черный. И худой. Килограмм двадцать. Ему в обед сто лет...

— Так кому сто лет-то?..

— Еще пикнешь — взорву тебя на хрен вместе с этим долбаным пароходом!!! Ему надо дать выпить. С почетом. Тогда он тебе вообще поменяет что хочешь на что хочешь. Ты — хочешь — менять — рубль — на доллар?

— Н-ну... не понял... хочу, ясно!

— Тогда: дуй сюда. Сию минуту. Будем менять. Никому больше — ни звука!

— Сказал бы сразу! Ты дверь запри! Бегу!!

— Стой! Пузырь возьми! Ты думаешь, я тебе че звоню?

— Сказал бы сразу! Стаканы есть? Бегу!!

— Стой! Не беги! Разобьешь.

Вахтенный в поту швыряет трубку и счастливыми междометиями и жестами поясняет негру, что сейчас глупый непонятливый бой, по голове его много били, принесет наконец выпить, и все будет хорошо. И ченчила внемлет ему со все более увеличивающимся доверием и достоинством, что вот, немаленький человек его принимает, бвана, слугу имеет на побегушках, который выпивку подносит.

Балдеет от своего плана вахтенный, хитроумный Одиссей: эх да он сейчас клюкнет на халяву холоденького, расслабитя на полчаса вместо обрыдлой вахты, пока тот, что у трапа, не взорвется и свалит оттуда. Да винцо! да под сигаретку! на холодке! нет, бывает жизнь хороша и под нашим флагом.

3. Пусть неудачник платит

Приятель бутылку доставил трепетно, как младенца, проглотившего гранату. И с негром здоровается, обращаясь непосредственно к карманам. Руку карманам протягивает и треплет их интимно. И мука сладострастия борется в нем с мукой скупости: откупоривает бутылку. Плеснул на доньшки:

— За дружбу и интернационализм!

— Не скупись, — поощряет вахтенный, — ему побольше, себе поменьше. Ченч сделаем — гульнем!

— Но бутылка уж с тебя.

— Да? А с тебя что — за такой обмен? не жидься.

— Может, у него там стриженная бумага, — сомневается приятель. — Для понта.

— Ерунда! Вон края торчат.

— Мало ли у кого что торчит... Для понта.

— Лей-лей! — и вахтенный проглатывает ударную дозу, налитую не ему вовсе для баловства, а ченчиле для дела, и нагло командует: — А теперь ему! Пол-лней...

Мерит приятель скорбным взглядом остатки в бутылке, жмурящегося ченчилу, и мечтает:

— Эх... спиртика бы для КПД капнуть...

— Откуда?

— А у доктора.

— Разбежался он.

— А за деньги.

— Нужны ему.

— Валюту, балда!

Вахтенный оценивает ченчиловы карманы и говорит:

— Жалко.

А приятель зажегся идеей, в азарт вошел:

— А выпить? Не выпьет — вдруг сорвется? На советские-то рэ!

Ченчила исправно подтверждает:

— Совет — гуд.

— Слыхал?!

И приятель звонит врачу: уважаемый доктор медицины, дорогой-любимый, позарез приперло, полстаканчика, а?

Доктор любезно отвечает:

— А пошел ты на...

Приятель обещает вылизать доктору все интимные места и лизать их непрерывно до самого прихода домой, а также сулит в придачу свою бессмертную душу.

Доктор не хочет. Он утверждает, что относится одобрительно ко всем видам сексуальных связей, только вот к гомосексуализму как-то скептически. Что же касается души, то он и собственной обременен сверх меры, и охотно ее ссудит какому-нибудь долбаку вплоть до окончательной победы мирового капитализма.

Приятель надрывно вздыхает и выстреливает из сокрушительного калибра:

— А за доллар?

При звуках чудного зеленого сияния доктор делает паузу и меняет тональность. Осведомляется с ласковостью психиатра к шизофренику:

— А вы не пили, ребята, негритянской водки?

— Это которой?

— Это которая стакан холодной воды и молотком по голове.

Приятель смотрит в большой задумчивости на негра и обмозговывают предложенный рецепт.

— Извините, ребята, дать не могу. Приказ. Никому.

— Я не шучу, док. Прошу продать мне сто граммов медицинского спирта за один американский доллар.

Доктор с кряхтением усваивает информацию, и сообщает, что на таких условиях он согласен продать все наличные запасы спирта, а также аспирин, валидола, касторки, скальпели, шприцы, бинты, а еще есть дома жена и старушка-мама, так никто не интересуется? По сто грамм за доллар.

И приятель отправляется за спиртом. Там происходит душераздирающая сцена: доктор желает вперед деньги, потом стулья, а приятель клянется своей визой и морским царем-вседержителем, что так невозможно, млеет и блеет, намекает и гарантирует, и еле уносит драгоценное зелье.

И они разводят честно спирт в три стакана, разбавляют сухим, доливают водичкой, чтоб дополнительно растянуть кайф во времени и

пространстве, и благостно выцеживают. И слегка даже балдеют.

И с удовлетворением хорошо и честно выполненного долга достают приготовленные рубли: поехали! Теперь все в порядке! Уже можно.

Негр сочувственно смотрит на рубли и говорит:

— Ноу.

Что-о?! Что значит «ноу»!!! Ведь все сделали как надо!..

Ченчила смотрит на них, как Рокфеллер на чистильщика обуви, и поясняет свою финансовую политику: из левого кармана бережно извлекает потертую долларовую банкноту, из правого — разворачивает местную бумажку величиной в скатерть и расцветкой в павлина, делает ими вращательное движение, и убирает доллар теперь в правый карман, а миллион своих местных бананогрошей — в левый. И вразумляюще произносит:

— Ченч. Вери чип.

— Чип?! — повторяет вахтенный. — Вери чип?! — шепчет бессмысленно, наливаясь расплавленной свинцовой злобой. — Не нравятся тебе рубли, гнида?.. — И вперяется белесым взором в куриную черную шейку. — Чип, чип, чип...

— Чип! — зловеще откликается приятель. — Чип! Понял?!

В лютой ненависти смотрят они на ченчиловы карманы, на шейку ничтожную, на пустые стаканы, на рубли... смотрят на амулет, висящий на шейном ремешочке, и быстро, твердо и безумно переглядываются.

Синхронно поднимаются, берутся за этот ремешочек и тянут, перекручивая, в разные стороны. Старичок дрыгает ножками, разевает рот, они тянут сильнее. Подержали... И придушили к чертям!..

4. Где знают двое — там знает и свинья

Сели. Закурили. Дышат. Успокоились. И смотрят.

И вроде даже ничего и не произошло.

Как вышло, черт его знает, как-то само получилось, вроде даже и не собирались... Жара, понимаешь... рубли эти неконвертируемые... Курят: молчат!

И тут трезвонит телефон: подскакивают! переглядываются!

Тот, что у трапа все торчит, матерится в трубку — осатанел в пекле:

— Хватит, на фиг, возвращайся! я сваливаю!..

Вахтенный — медовым голосом:

— Бу-удь другом, две минутки еще, я за тебя потом хоть всю вахту отпашу.

— На хрен мне сдалось! Имей совесть!

— Старпом вдруг спросит — скажи, что мы подменились.

Тот заинтересовался — голосом, настойчивостью:

— Ты че там? Че делаешь-то? А? Три минуты жду!

«Че делаешь». Труп прятать надо, вот че! Куда его денешь — белый день, все на борту! Пихают его спешно в рундук под койку. А деньги вытаскивают, наконец-то, из карманов и, не удержавшись, спешно пересчитывают.

И тут распахивается, конечно, с треском дверь — притопал злобно тот, от трапа:

— Че это у вас?

А на столе — рваные кучки денег всех стран разложены, и рубли тут же. Идет скрупулезный подсчет и определение достоинства относительно рубля и доллара.

Выпучились друг на друга.

— Вы че, бухали? — Смотрит на три стакана. — А еще кто был?

Отвечают:

— Э-э-э-э-э...

Глядит он на эту картину, и мозгами перегретыми с усилием шевелит.

— Бизнес? А меня — дурачком? Суки. Л-ладно!

Вот зараза. Стукнет еще из зависти, раззвонит!

— Я пошел. Со старпомом сами разбираться будете.

Вздохнули тяжело:

— Вот тебе один фунт за один час вахты. Знай нашу щедрость. А теперь иди, постой еще семь минут для ровного счета. Будь человеком.

А тот с разгону беспронижительно выставляет ультиматум:

— Ще-едрость... Возьмете в долю — постою, так уж и быть.

— Что-о? Мало?!

— А что — много?

Жадный матросик попался и наглый. Если вот так, ни за здорово живешь, отваливают фунт — значит, очень им надо. Значит, можно потянуть больше. Засовывает он этот фунт в карман подальше и повторяет:

— Давай по-честному. Кто все это время у трапа парился? Значит, вхожу в долю. — На треть претендует, бродяга!

И глядя бессильно на алчущую и потную его физиономию, вдруг раздражаются они нервическим хохотом:

— Так — в долю хочешь? На троих?

— Хочу!

— Ха-ха-ха! Ох-хо-хо-хо! Полную треть?

— Да. По-честному. А что?..

— Ха-ха-ха-ха!..

— Да вы че гогочете!

— Ну, выдай ему его долю!

Выдвигают рундук и показывают ему труп.

Тот сереет и отваливает челюсть. И при виде его остолбенения они опять истерически закатываются:

— Хотел на троих? Заметано! Так теперь и скажем.

— К-кому ск-кажете?..

— Ох-ха-ха-ха!.. «К-кому, к-кому!» Прокурору, тля!

— М-м-мужики, вы ч-чего... Это ч-что...

— Это? Ой, а что это? С утра не было. Ха-ха-ха!..

— Дак вы-вы-вы...

— Нет уж, не вы-вы-вы, а мы-мы-мы. Ты чего, грамматику в школе не проходил? Кто на стреме стоял? Кто треть требовал?

— Точно. Мы ребята добрые.

— И справедливые. Получай заработанную треть!

- Да вы как?..
 - Молча, тля. За шнурочек.
 - Какой шнурочек?
 - Специальный. Который он сам себе на шею надел.
 - Как? Дак а чего? теперь-то?
 - Дак а теперь-то ничего. Бабки на троих делить.
 - А его чего?
 - А ему теперь чего. Морской закон суров: кирпич на шею — и за борт.
 - А где кирпич-то взять?..
 - А вот твоя рожа как раз подойдет.
 - Дак увидят!
 - Что увидят — рожу? Долбак! На солнце ночью полетишь, понял?
- И садятся они бок о бок втроем пересчитывать и делить все эти грязные и мелкие бумажки.

5. Скорая медицинская помощь

Доктор же тем временем, гуманист в белом халате, соблазненный сверх меры чужим вожделением, видом спиртика и звуком струи из склянки, набулькал себе полмензурочки, закусил сырком, засмолил болгарской сигареткой и, заботясь судьбой своего доллара, опять же, томимый скукой и бездельем, звонил по каютам в поисках должника.

Ударил телефон нашей троице по ушам, по нервам, сбил со счета, оцепенил. Брать трубку, не брать? А если не брать — что говорить потом, где был, куда делся?..

— Алло?

— Такой-то у тебя сидит?

— А что?

— Ясно. Если сидит — никуда не трогайтесь.

— Почему?..

— А потому, что сейчас к вам придут!

— Кто?..

— Кто надо, тот и придет, — зловеще обещает доктор. — Сейчас увидите. — Это называется — каждый развлекается, как может. В море театров нет. Оно само себе театр.

Заговорщики холодеют. Мандражируют.

Стучат в дверь — громко, размеренно: официально. И тот, который третий, вообще зеленеет и норовит попрощаться, ладно, ребята, я тут ни при чем, так что пошел, пока. Ему возражают, ну нет, ишь намылился, третий так третий! а то покажем, что это вообще ты все придумал и организовал, с вахтенным договорился, из хитрости в чужой каюте все совершил, и душил сам, а мы только помогали. И его начинает колотить крупная лошадиная дрожь.

Тут-тут-тут! Трах! трах! тра! Разбирают деньги, прячут стаканы: у-у доктор, интеллигент проклятый, как чего учуял, что теперь будет!.. Отпирают...

— Всем сидеть на местах! — дурачась, командует доктор, молодой специалист. — Ну-с, друзья мои, пора поделиться доходами.

Они смотрят, как кролики на удава, и мелькает на миг мысль, а не придушить ли заодно и доктора; и дело с концом, шито-крыто. Но не

настолько у них еще крыша поехала, и мысль эта безумная развития не получила.

А доктор, с мелким удовольствием отмечая их растерянный вид, веско объявляет:

— Мне все известно! Так что — давайте.

Вот и твердите после этого, что доктора ничего не понимают. Может, оно и так, не понимают; но иногда умеют.

Третий тянет неохотно, кривя звук с мужицкой скаредностью:

— Да че давать... сколько и было-то...

— Сколько было — столько и выкладывайте, — веселится доктор, продолжая играть втемную. И от его напористого веселья проникаются они праведной враждебностью трудяг, которые как-то обмануты кем-то сильно образованным, за кого они сделали всю грязную и опасную работу, а теперь их элементарно грабят, пользуясь преимуществом в интеллекте и положении.

И первый говорит:

— Да за что ж давать-то, доктор. Всем давать — не успеешь штаны скидывать.

Второй говорит:

— Вы что ж — вообще все хотите? Конечно... если совести хватит...

А третий говорит:

— Это с вашей стороны... еще в сто раз хуже, чем с нашей...

Проситель-спиртонос под докторским нахальным взором отслюнивает доллар и подвигает по столу. И поскольку доктор хранит невозмутимость, добавляет еще пять франков и тысячу лир. И голосом праведника, воздавшего жестокосердому кредитору семь мер за одну, извещает:

— Вот...

Доктор, не углубляясь умом в детали какой-то ихней сомнительной аферы, деньги брать не спешит, а светским тоном жалуется:

— Невысокий гонорар дипломированному врачу от богатеньких матросиков. Откуда дровишки... Н-нус, а где же труп невинно убиенной вами тещи?

И морячки убеждаются, что хитрозадому доктору доподлинно все известно! и его циничное хладнокровие их ломает: на их волю

наложена воля более сильного духом противника. И колются:

— Где-где... В рундуке.

— Предъявите тело для опознания! — командует доктор, от души развлекаясь этой маленькой игрой.

Хозяин каюты выдвигает рундук и отмахивает показывающий жест: мол, прошу. Доктор смотрит в рундук и совершенно охреневает.

— Бля... — сипит он и выпучивается. — Это че?..

— Че-че... Невинно убиенной тещи...

Доктор икает, утирает пот и спрашивает:

— Это кто?

Тут до них доходит, что купились на дешевый понт... тьфу!
Отвечают с ненавистью:

— Да так... зашел тоже один в гости.

— И что?..

— И ничего. Умер.

— Отчего?!

Пожимают плечами: черт их знает, эти африканские болезни, да и стар уже был...

Какая болезнь. «Типичная асфиксия».

— Как он сюда попал-то?

— В ящик? Сыграл. Игра такая, знаете? Так и называется — сыграть в ящик.

— Отдохнуть решил культурно. Жарко, говорит, в этой Африке, хочу отдохнуть с комфортом.

Мрачно так острят: отрешились.

А доктор все врубиться не может, головой трясет: заело:

— Да откуда он взялся-то?!

— Из Африки, трах-тибидох. Да что вы переживаете, там еще полно.

— Да я серьезно спрашиваю! — взмолился доктор. — Ведь вдруг эпидемия начнется!..

— Да ла-адно — эпидемия... Что уж мы... Хорошего понемножку.

— Со всяким может случиться.

— Надо же протокол составить! покойник же на борту! — Господи, вот морока-то, что за напасть такая.

— Ага. Протокол — обязательно. Как же без протокола. — Выгребают из карманов опять все деньги на стол и начинают делить на

четыре части. — Ладно, Анатолий Иванович. Получите заработанную четверть.

— Мы не жулики.

Доктор утирает пот: мысли разбегающиеся ловит. Ох да ни хрена себе. Что делать. Стучать? — шуму не оберешься... вот ввязался в историю! Не знал, не слышал, не видел; какое его дело.

Ему честно вручают долю: тебя здесь не было, ступай себе с Богом, родимый: медицина тут бессильна.

Умный и предусмотрительный доктор заявляет: нет, мне, пожалуйста, только гульденами и канадскими долларами (в те страны заходили). Поцыкали недовольно:

— Только, Анатолий Иванович, железно, без «б»: молчок.

— А то вместе на вас покажем, что нас сорганизовали и подпоили.

Доктор оскорбляется:

— За кого вы меня принимаете! — Деньги упрятывает поглубже:
— И не нужны мне эти несчастные копейки.

— А не выпить ли уж нам еще по грамульке по этому поводу?

— За успех, так сказать?

Доктор поспешно отрешивается:

— У вас не был, спирта не давал, ничего не знаю. Все-все-все, хватит. Я-то, конечно, понимаю: пять бабок — и рубль, но кто вас знает, ребята, что вам со следующей дозы в голову взбретет.

Медики — они вообще циничные. Профессия такая. И, берясь за ручку двери, говорит научно и наставительно:

— Учтите, что при такой температуре воздуха органическая материя весьма быстро деструктурируется.

— Чего?

— «Чего-чего»: завоняет быстро! — переводит он свои речи на разговорный русский.

— Ну, — успокаивают, — мы его ночью уберем, мы понимаем.

— Уборщики. Морские санитары. Вы закон Архимеда проходили?

— А?

— Вы знаете, что тело плавает?

— Все мы плаваем, — откликаются философски. — Мы тяжелое привяжем, не беспокойтесь.

Доктор открывает дверь, и в дверь с разгону влетает боцман.

6. Концы в воду

— Почему покинул вахту!!! — вопит боцман.

На него смотрят меланхолично и спрашивают:

— Кстати, у тебя шкертика не найдется в хозяйстве?

— Пороть тебя шкертиком! за яйца на нем повесить! трос в глотку!!!

Пусть орет; а чем груз-то к ногам привязывать? Где на судне веревку возьмешь? А и сам груз? только у боцмана ключ от кокпита со всяким такелажным и палубным барахлом.

Боцман с хрюком втягивает воздух:

— Пили?! На вахте жрал, сука! а мне старпом фитиля за тебя? Я т-тебя аттестую, я т-тебе устрою, ты у меня нюхнешь визу, крабья пададь!!

Вахтенный бурчит рассудительно:

— Ну и что тебе толку? Сам же выйдешь плохим, разложил коллектив.

Боцман: на самолет! за свой счет! поганой метлой!

Ему — доллар: да успокойся ты, дай лучше шкертик.

Доктор: ну, я пошел. Постойте, говорят, Анатолий Иванович, вы считать умеете, ведь с высшим образованием? нас ведь прибавилось; что уж теперь.

Короче, плюнули, махнули: взяли боцмана в долю. Боцман был мужик крепкий, но присел на стул и попросил водички: что-то худо ему стало. Сильно огорчился увиденному.

Ему такое ЧП на судне меньше всего нужно. И от денег отказываться жалко. И он, согласно ввевшейся привычке и Уставу корабельной службы, начинает руководить этими раздолбаями: как быстро и по-деловому произвести необходимые работы. Одного гонит в машину взять какую-нибудь железяку — к ногам привязать. Другому дает ключ от кладовой и нож, с инструкцией: снасть зря не портить и лишнего от бухты линя не отрезать. Третьего — к уборщику за ветошью для упаковки груза. Потом: в иллюминатор его тот надо будет спускать, который по борту к воде, притом пониже. Замотать поплотней... да не так, дубина! Давай-давай, а то как гадить — так

пожалуйста, а как порядок наводить — так руки дрожат?! Кто с ноля ночью вахту стоит? Смотри у меня, акульки дети, чтоб все было сделано как надо!

Такая у боцмана должность, что он плохо переносит самодеятельность подчиненных.

В результате всей этой организационной деятельности, когда запеленутого беднягу-ченчилу с болванкой на ногах влекли в последний путь по коридорам и трапам и выпихивали осмотрительно из машины в иллюминатор — успешное окончание работ приветствовала уже чуть не половина команды. Пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись досыпать до завтрака.

Тем и закончилась эпопея: бултых в темноту. С концами. Господи, да кто его там хватится, в этой Африке.

Деньги в результате поделили человек на восемь, чтоб никого, не дай Бог, не обидеть. Да и оказалось-то тех денег на каждого — ерунда какая-то. Сошли назавтра на берег — пивка попить: любое дело обмывки требует; вроде как бы и поминки, и душе приятнее, что не зажали гроши из жадности и корысти, а — за хозяина пропустили. Пивка, банка — доллар, потом рому для кайфа, а, да все равно на что тех денег хватит. Пропили, и даже не забалдели толком.

И вернулись с таким ощущением, что — ну все, завершили: нет человека, нет денег — нет проблемы. Чего за рейс не случается.

Тем более что перевели их к другому пирсу, и начали наконец разгружать, а там выяснилось, что здесь они грузятся кофе и идут домой. И настроение сделалось вдвойне предпраздничное: мало того, что — домой, так ведь еще каждый мореман знает, как загнать мимо таможни налево мешок кофе, это тебе и бабки, и домой кофе на год привезешь; хороший рейс.

7. Не все то лебедь, что торчит из воды

Через недельку вылезает из порта в грузу здоровеннейший американец под либерийским флагом — тысяч на восемьдесят. Под килем у него остается буквально фута полтора, и гигантский винт там под кормой вращается, на малых оборотах всю дрянь и мусор с портового дна перебалтывает, как помойка в кильватере. Праздник чайкам. И все население африканского порта глазеет с судов и с берега: на движущийся корабль всегда глазеют. Ждут: а вдруг сядет брюхом — развлечение будет...

И полиция портовая тоже глазеет, пуза глянцево почесывает. Черные любят развлечения никак не меньше белых. Глазеет она, значит: а что это там, кстати, за хреновина такая плавает? среди прочего мусора? Смотрит чернокожий сержант-полисмен в бинокль, и вроде эта хреновина что-то напоминает... Сплевывает он небрежно в воду окурков: лень, конечно... — а с другой стороны — скука, делать нечего.

Поколебавшись, дает он команду, и, оживясь от разнообразия в их скучной жизни, шлепаются полицейские в катер. И теперь уже весь порт начинает глазеть на них тоже. Катер ревет мотором, косо встает над водой и по красивой белопенной дуге — только помой в стороны разлетаются — летит к цели. Полицейские сидят небрежно, неподвижно: гордятся своей ролью и властью — исполнение важных служебных обязанностей. Эффектно сбрасывают скорость прямо у этой плавающей штуки: смотрят. Подцепляют бугром. И вытаскивают утопленника.

Утопленника укладывают на баке и мчат сей плод своей бдительной и бурной работы к берегу. Там его разматывают от тряпья, рассматривают обрывки веревки, и с головы снимают наволочку. И на наволочке этой стоит вот такой штамп:

— ТЕПЛОХОД «ВЕРА АРТЮХОВА» -

БАЛТИЙСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО.

8. Это прачечная? — Фуячечная!

А капитан «Веры Артюховой» валяется себе спокойно в каюте, ни о чем худом не помышляя, одним полушарием головного мозга воображая наслаждения с разными бабами в разных видах, а другим тоже радуясь, как он удачно разжился полгода назад в Канаде запчастями со свалки для своего «форда» и как на нем будет теперь дома ездить по твердой земле, четыре месяца подряд. И тут ему по телефону от трапа докладывают, что пожаловала на борт делегация местной полиции во главе с начальником и желает капитана видеть и иметь с ним беседу.

— Какого лешего им надо?

— Да наверно выпить на халяву хотят, чего ж еще, — вразумительно предполагает вахтенный.

— Я занят. Через десять минут ожидаю в капитанском салоне — проводишь.

Капитан с неудовольствием временно прерывает свои мечтания, облачается официально, к белой рубашке прицепляет черный галстук и перемещается в салон:

— Войдите!

Вваливается делегация туземной полиции — пожимает руки демократично; рассаживаются. Капитан предлагает наливать, закуривать: готовно наливают, отпивают, закуривают:

— Итак, вы капитан этого судна, сэр?

— Это предположение делает честь вашему уму.

— Ваше судно носит имя «Вера Артюхова»?

— Во всяком случае, сегодня с утра радиogramмы о переименовании еще не поступало.

— И приписано к Балтийскому морскому пароходству?

— Вы пришли известить меня, что прописка просрочена?

— Будьте любезны посмотреть, — и начальник полиции подает знак сержанту. Сержант со скромностью фокусника показывает пакет, из пакета достает наволочку и эффектным жестом разворачивает ее перед капитаном. — Это наволочка с вашего судна?..

Капитан постигает смысл надписи на клейме, неопределенно пожимает плечами и с лаконичностью старого морского волка, которому ниже достоинства и чина совать нос в грязные тряпки, роняет:

— Возможно.

— Но название совпадает, — настаивает начальник полиции. — Вы опознаете этот предмет?

— Лично с этим предметом я не имею чести быть знакомым, — вежливо отвечает капитан, торопливо соображая, в чем дело. — А в чем дело?

— Но надпись совпадает?

— Надпись совпадает, — дипломатично соглашается капитан.

— Занесите в протокол, — приказывает начальник полиции, и другой сержант вооружается бумагой и ручкой и начинает писать.

— Эта наволочка, — торжественно провозглашает начальник полиции, — снята с головы нашего бизнесмена, который был обнаружен нашей полицией задушенным и утопленным в акватории нашего порта. Это — вещественное доказательство, — разъясняет он, видимо гордясь своей логикой и специальными познаниями.

Капитан превращается в памятник погибшим капитанам. И этот памятник страдает нервным тиком. Действуя на рефлексах, он растягивает улыбку, выгребает из бара еще кучу всяких хороших бутылок, распечатывает коробку сигар и стеклянно чокается с начальником полиции. И лихорадочно пытается соображать, и абсолютно ничего не соображает, кроме как какое счастье было бы тяпнуть фордовской почти новой рессорой начальника по башке и выкинуть их всех вон.

Полицейские со вкусом истребляют его представительские запасы, чавкают солеными орешками и шоколадом, а капитан придумывает, что надо сделать: позвонить старпому:

— Тут у меня полицейские. Утопленника вытащили. Нет, негра. А на голове у него была наволочка. Ты у меня пошути еще!.. А то, что наш штамп, идиот. Зайди.

Старпом заходит оскорбленно, смотрит на наволочку с негодованием. И заявляет претензию:

— Мы не можем нести ответственность за грузчиков вашего порта. А вот вы обязаны! Они крадут все подряд. Я уверен, что эта

наволочка украдена с нашего судна. Вы должны допросить всех грузчиков.

— Тоже спасибо, — благодарит кэп. — Ты что хочешь, чтоб портовые власти держали нас здесь до окончания следствия?.. Идиот...

— Тогда отдувайся сам, — злобно говорит старпом.

Начальник полиции бурно протестует:

— У вас есть доказательства кражи?

— А наволочка — не доказательство?!

— Вы обвиняете наших граждан в преступлении? А почему вы не обратились к властям раньше, а вспомнили только сейчас?

— Мы не хотели портить дружественные отношения такой ерундой.

Но начальник к беседе-допросу подготовился. Это трамплин его карьеры. Тут возникает дело государственного масштаба! Он придает лицу торжественность — и отмечает:

— Ваше объяснение не принимается.

— Это еще почему? — выпячивает подбородок кэп.

— Суки, — говорит по-русски старпом. — Коньяк наш принимается, а объяснение не принимается. Гурманы.

Начальник полиции показывает пальцами грамотному сержанту, тот отрывается от протокола и подает ему бумажку. Начальник разглаживает бумажку и вручает капитану:

— Ознакомьтесь с актом экспертизы, — сладко потчует он. — Смерть наступила минимум на двое суток раньше, чем ваше судно начало разгружаться. Следовательно, — сияя, выводит он логическое заключение, — грузчики не могли украсть ничего раньше, чем попали на судно! Так? А на судно они попали не раньше, чем началась разгрузка. А? — И смотрит победно и обличительно.

Полицейские аплодируют. И на поясах их звякают наручники.

Капитан говорит:

— Я приму валокордин.

А старпом предполагает:

— Возможно, они ночью на палубу влезли.

— Да, — вежливо соглашается полиция, — специально для того, чтобы выкрасть наволочку из-под головы спящего матроса. Потому что им очень захотелось обернуть ею голову покойника.

Старпом говорит:

— Ну, мы не очень разбираемся в местных похоронных обрядах.
А капитан гавкает по-русски:

— Я б не пожалел и шесть наволочек, чтоб обернуть головы всем этим идиотам и придушить их.

Старпом мечтательно вздыхает, скребет в задумчивости голову и говорит:

— Федор Николаевич, а не вызвать ли нам артельщика... такой жучара...

— Жучару сюда! — командует капитан.

Является артельщик, плавучий жулик новой формации, веретено непотопляемое. Прямо со сходки команды является, где горячо обсуждали полицейское собрание в салоне. Артельщик с порога видит наволочку и бросается к ней, как к родной:

— А-а! Ну вот, наконец-то! Где нашли?

Ему объясняют, где нашли...

Артельщик вольготно раскидывается в кресле и панибратски заверяет:

— Не волнуйтесь, Федор Николаевич, замучатся к нам приеживаться. Позвольте? — под капитанским взглядом хозяйственно наливает себе полстакана «Джонни Уокер», закуривает со стола «Мальборо» и, чувственно наслаждаясь своей решающей ролью в напряжении момента, лениво вытягивает две квитанции:

— Попрошу ознакомиться. На второй день по прибытии мы сдали в портовую прачечную простынь (столько-то), наволочек (столько-то), полотенец... скатертей... и салфеток: итого штук белья... В результате же... — и закатывает звонкую, как колокол, паузу. — В результате! по получении не хватало: салфеток — три! Простынь — одна! Наволочек... э-э... три. Еще двух не хватает.

Начальник полиции выслушивает английский перевод и из него выходит весь воздух...

Артельщик прет нагло, как танк на песочницу: требует возмещения убытков:

— Мы не хотели ссориться, они страна бедная, дружественная, пережитки колониализма, мы понимаем. Но если уж они так, то я, как лицо материально ответственное, делаю официальное заявление. Мне без интереса из своей зарплаты высчитывать. А эдак они во второй

наволочке найдут голову своего президента, так нам что тогда — всем на реях повеситься?

Старпом переводит. Полицейские тоскуют. Капитан смотрит на артельщика с такой влюбленностью, что был бы гомосексуалистом — отдался бы ему прямо здесь на столе. А артельщик дожимает ситуацию:

— Разрешите, я пишущую машинку принесу? Прямо сейчас и напечатаем им заявление. Пусть заводят уголовное дело о хищении советского судового имущества.

Старпом говорит:

— Вот ключ от каюты. С латинским шрифтом возьми.

Начальник полиции, растерянный сын отсталого народа, очень печально вздыхает. Дело пустяшное, чего уж... Неужели русские моряки хотят посадить в тюрьму бедных прачек за пару салфеток... Ведь нет? Они же не расисты? Тем более что одну наволочку полиция уже нашла и даже доставила прямо на судно. И раз уже принесли машинку, нельзя ли лучше напечатать благодарность начальнику полиции за хорошую работу?

Ему печатают благодарность за хорошую работу, и полиция с поклонами убывает, радуясь своей изворотливости.

— Пейте мою кровь, — напутствует вслед артельщик, угощаясь напоследок еще полстаканчиком виски. А кто его знает, рачительного доку, сколько белья он загнал в порту налево: каждый пробавляется чем может. И уносит он наволочку брезгливо, как дохлую кошку за шиворот, прямиком в мусорный контейнер. И потом долго моет руки горячей водой с мылом.

И после этого все чувствуют себя законно оправданными пред лицом полиции и закона и, следовательно, уж теперь доподлинно ни в чем не виновными.

И пока доходят до дома, все это удаляется в памяти незначительным эпизодом, превращаясь в одну из тех случающихся за рейс историй, которые приятно на берегу вспоминать за бутылкой.

9. Любовь требует жертв

И вернулись наконец в родной порт: встречи, объятия, жен год не видели, семейные праздники, дети на год выросли...

Представьте себе первую брачную ночь после года без бабы! Коньяк, пот, сбитые простыни и полуразломанная кровать...

И вот под утро уже, светает, лежит наш давешний вахтенный в изнеможении тихий, счастливый, опустошенный, рядом с едва дышащей, блаженно полумертвой женой: лежит и смотрит отрешенно перед собой в предрассветный сумрак. И в душе его, омытой до кристальной прозрачности любовью и пронзительной сладостной благодарностью, происходит движение — высокое и доверительное. И он тихонько зовет:

— Маш, а Маш...

— Что, милый...

— Вот ты лежишь со мной, а ведь не знаешь...

— Чего не знаю, милый?

— Многого не знаешь... — ровно и тихо говорит он, чем-то скрытно подтачиваемый, не то с виной, не то с угрозой.

— Да все я про тебя знаю, глупый... — Какие там грешки у матроса в рейсе. Какая жена этого не понимает. Дурачок; нашел время.

— Да нет, Маш, я правда...

— Ладно тебе сейчас. Иди ко мне...

Но он отодвигается слегка, выпивает рюмку, закуривает и произносит:

— А вот что бы ты сказала, если б оказалось, что я в чем-нибудь виноват?

— Кто ж ни в чем вовсе не виноват. Наверно, простила бы как-нибудь...

Он настаивает:

— Нет, Маш, а если что-то серьезное? Если б я, скажем, преступление совершил?

Она уже в сон обрубается, вот пытается, завел шарманку...

— Ой, ну какой ты преступник... Давай поспим...

— Нет, а если серьезное? Ну, скажем... человека убил.

Нет — вы понимаете вот это движение русской, Достоевской пресловутой души?

— Да куда ж тебе, — жалеет его, — человека. Ты и муху-то убить не можешь... — И похрапывает уже.

То-есть не принимают всерьез, подвергают сомнению способность его души к крупным поступкам! пусть к злодеянию, но...

— А если? — толкает ее, не отстает.

— А если — так смотря кого, есть такие, что я бы сама убила. — И норовит заснуть.

— Что, — спрашивает, — и простила бы?

Гладит она его по щеке, прижимается теплым телом: ну конечно простила бы, куда ж она денется. Все хорошо, спи, милый...

Но он ее пихает локтем для бодрствования, и говорит:

— А ведь я, Маша, правда человека убил.

Сколько можно валять дурака, убил так убил, а теперь пора спать, через час детей поднимать в школу.

— Не веришь мне?

— Всему я верю, не мучь ты меня!

Она ж его любит! верит ему! ждет, детей воспитывает! не может он от нее такое в душе таить, обманывать ее!..

— А дело так было, — говорит он.

И рассказывает ей всю историю.

И закончив, гасит последнюю сигарету, вздыхает со скорбью и гигантским облегчением и вытягивается в постели, чтоб теперь спокойно заснуть. И отрадно ему до слез и спокойно, что и он теперь чист и честен перед ней, и она у него такая, что все поймет и простит.

А жена смотрит на него; смотрит; и говорит:

— Вить, а Вить...

— Что?

— А ты бы сходил покаяться...

— Куда еще?..

— Ну куда... в милицию.

С него от этого предложения весь сон слетает:

— Ты... чо?

— Я ж вижу, ты мучишься... а так тебе легче будет...

— Ты что, — говорит, — всерьез? Посадят ведь.

— Если сам покаешься — тебе снисхождение сделают.

— Кто — милиция? они сделают.

— Обязаны. Закон такой есть — явка с повинной.

Юридические познания жены вгоняют его в дрожь.

— Ты что, — говорит, — хочешь одна с детьми остаться, что ли? Или надоел, другого завести успела? а меня, значит — побоку и в зону, благо и повод подвернулся? Ах ты сука!

Но у нее в глазах уже засветился кроткий свет христианского всепрощения, и она его материнским голосом наставляет:

— Ты не бойся. Я буду хранить тебе верность, посылки посылать буду, на свидания ездить. Детей выращу, воспитаю, о тебе им все рассказывать буду. А тебе за хорошую работу срок сократят. Я тебя обратно в квартиру пропишу.

— Да ты что, — головой мотает, — да на фига ж тебе это надо?..

— Нет, — говорит, — Витя, ты со мной по-честному — и я с тобой по-честному. Уж надо по совести, по справедливости. А иначе я не смогу.

Он все цепляется за надежду, что она невсамделишно, не всерьез. Какое там.

— Никуда я не пойду, — говорит как можно спокойнее. — Ты что?

— Как же ты людям в глаза смотреть будешь? А я как людям в глаза смотреть буду?..

— Плевал я на твоих людей вместе с их глазами!

— А тогда, — говорит печально, — я сама на тебя заявлю, что ты виновник...

— Посадишь?!

— Ты не бойся. Так тебе же лучше будет. Я буду хранить тебе верность... — и т. д. и т. п.

— Кто ж тебе поверит?!

— Сам говорил — у вас вся команда в свидетелях.

Ну... Эх. Наливает она рюмки, чокается с ним, целует крепко.

— Ты, — благословляет, — не бойся. Так тебе же лучше будет. — И, подумав, светлеет — утешает: — А может еще, простят тебя. Ведь ты ж не хотел, правда? Это ж как несчастный случай... тем более на первый раз. Да и денег, — добавляет, — там почти и не было.

Утром он совершенно деморализован и разобран в щепки: сломался. Бессонные страсти, алкоголь и душевные терзания — все

нервные силы исчерпаны: он трясется и на все согласен — да, раз лучше так — значит, так.

Жена плачет и собирает ему в портфель белье, зубную щетку, мыло и сигареты. Он целует и гладит детей, она в дверях припадает истоиво к его груди, потом падает на постель, кусает подушку и все плачет.

А он, значит, топает сдаваться в милицию.

10. Не мешкай у цели: иди куда шел

В тюрьму кто же торопится. Поэтому сделал он остановку у пивного ларька, принял душевно пару кружечек, покурил, любуясь на белый свет, зеленую листву, твердь земную и женщин, по этой тверди прелести свои несущие, — хорошо-то как, Господи!.. — и построил маршрут таким образом, чтоб пройти мимо следующего пивного ларька. А от того ларька, добавив, наметил зигзаг в сторону рюмочной. И в рюмочной той, сквозь табачный туман и сивушную радугу, и мужицкий неторопливый гомон (прощай, свобода! я любил тебя) увидел того друга-подвахтенного. Тот тоже в первое утро вылез прогуляться по улицам, душу опохмелить.

По рюмочке: — За благополучный приход!

— А знаешь, — прощается, — я ведь сдаваться иду.

— Кому сдаваться?..

— Ну кому... В милицию.

— Куда?!

— Гм. Вообще-то, наверно, в прокуратуру надо.

— Зачем?!

— С повинной.

— Как это?..

— За повинную, — объясняет, — скидку дают. А по первой судимости могут срок сократить. На треть.

— Т-ты чо — гребанулся?!

— А может, и больше, чем на треть...

— Погоди-ка, — советует друг, — я еще возьму. Тебе мозги поправить необходимо. Ты себя чувствуешь как?

— Да я б, — вздыхает, — в общем, и не пошел бы: жена настояла.

— Ты — жене рассказал?!

— Как же такое скрыть... мы ведь в любви живем; она верит мне.

— Так это она тебе по любви насоветовала в тюрьму идти?!

— Тебе не понять... тут в душе дело... ты любил вообще?..

Другу плохо. Друг берет еще. Погоди, говорит, шлепнем. Куда спешить. Успеешь. И всячески ему вправляет мозги: убеждает. Но этот

чем больше пьет, тем больше мрачнеет: твердеет; и цель в его сознании становится все неотклонимее. На автопилот мужик стал.

И ложится на курс: уходит. А друг бросается к автомату — звонить третьему: «Срочно! спускайся вниз! поговорить надо!» — «Что за спех?..» — «Он в прокуратуру пошел!» — «Кто? Чего?» — «Сознаваться!!!»

Тот ссыпается на улицу, они срочно соображают: как? чего? что делать? — высвистывают боцмана. Боцман: «Трах твою в пять!!!» Втроем бегут к артельщику! Первое утро, все дома, все с похмелья, соображается плохо: в команде начинается паника!

Решают: перехватить, напоить до отключки — и в канал сбросить: кранты. Другие возражают: а жена-то? ведь тоже теперь знает! Горячие головы кричат — и жену следом! А вдруг она уже кому-то рассказала? Кричат: зубы гадам спилить напильником, чтоб все выложили, кому уже растрепали! Самые спокойные возражают: давайте с доктором посоветуемся, он человек умный, образованный, он сообразит.

Доктор: ох; он же всех заложит! Там же все размотают; все сядем.

А наш бедолага движется себе неторопливо зигзагообразным маршрутом от пивной до рюмочной и до следующего ларька, и уже под конец рабочего дня добирается до прокуратуры — в геройском настроении, готовый принять вину и пострадать.

И из прокурорской приемной навстречу ему вываливается половина команды и, тыча в него пальцами, орет:

— Вот он!

— Мерзавец!

— Убийца!

— Держите, уйдет!

Это, значит, пока он пил и страдал, гурьба верных друзей опередила его и хором выложила прокурору: свершил он зло один и втайне, но они бдительно прознали, однако до родного порта молчали из патриотизма. Дабы предотвратить международный скандал и соблюсти репутацию советского Морфлота: не позволим запятнать флаг пароходства! Скрепя души, горевшие праведным гневом: чесались руки за борт гада спустить — но самосуд осуждается советским законом, а закон для них свят. Потому наказали злодею сразу по прибытии на Родину идти в прокуратуру и чистосердечно сознаваться. Да... но так он молил попроситься с семьей, что

снизошли они мягкосердечно (виноваты!..) и дали ему сутки на прощание и сборы: а утром сдаваться и каяться. Однако доверяй, но проверяй: пришли проконтролировать, как честные и сознательные граждане, хотя и излишне гуманные: ну как передумает, скроется, или еще чего по злобе и страху выкинет, оговорит всех!

Прокурор выпучил глаза на это массовое помешательство и поинтересовался, не проходили ли они в Мировом Океане случайно районы испытания империалистами неконвенционного психического оружия? а несвежей туземной пищей случайно не питались?

Артельщик обиделся, доктор головой покачал.

А как они вообще это узнали? А после визита полиции заподозрили, сопоставили, прижали гада к стенке и раскололи! Ага... А почему капитана не поставили в известность? А потому что имеют понимание о флотской чести: капитан обязан выполнять долг и сообщать всем инстанциям по команде, а они его уважают и хотели оставить ни при чем. Это — флот!

О Господи твою мать, говорит прокурор.

А, вот он, пришел!!! Хватайте!!!

А он, действительно, держится очень благородно в пьяном остекленении и все берет на себя одного. Он пострадать пришел. И плохо все понимает. И со всеми соглашается.

11. Псих

Прокурор звонит капитану. Капитан принимает валокордин, приезжает, дает показания, и его на «скорой» увозят с приступом в больницу. Прочие валят в ближайший кабаk успокоить нервы и подумать о будущем. А виновника, с трудом подписавшего признание, придерживают в предварилковке. И у прокурора начинается дикая головная боль: что делать дальше?

Дело международного масштаба. Убийство иностранного гражданина. Честь флота и державы. Не напороть бы горячки.

Он звонит горпрокурору, тот звонит в областную прокуратуру, оттуда — в Управление пароходства, оказываются задетыми МИД и Министерство Морфлота СССР, и эта эпидемия головной боли распространяется все шире. И никому совершенно это ЧП не нужно! Все сходятся на одном: черт бы драл этого идиота вместе с его женой, совестью и всеми потрохами! уж лучше сидел бы себе тихо!.. Мало ему убийства, так ему теперь нужен еще и скандал.

Но уже поздно! Знает куча народа, бумаги официально зарегистрированы и пошли в ход — закрутилась машина!..

А пока суд да дело — всей команде закрыли визы, впредь до выяснения полной картины. Помполита исключили из партии и списали с флота; причем эту кару вся команда как раз восприняла со злорадным удовлетворением: вот тебе-то так и надо, дармоед, приставлен воспитывать — так воспитывай, не допускай убийства на вверенном тебе судне!

Доктор перешел работать в районную поликлинику участковым врачом, отплавался, эскулап. Отлил матросику спирту на доллар!.. Зло одно от этих долларов. Особенно когда рублей не хватает.

А у капитана оказался инфаркт, и он после больницы торчал печально дома, глядя в окно, как ржавеет под дождиком неотремонтированный «форд»...

Само же судно отогнали в плановый ремонт, с глаз долой, благо по тому плану ремонт уж лет пять как полагался. И в пароходстве подумывали, не переименовать ли его на всякий случай: нет у нас вообще такого парохода — о чем вы говорите? не понимаем. Там,

кстати, впервые заинтересовались: а кто она, собственно, была такая, эта Вера Артюхова? да и была ли еще...

А тот наш знай долдонит: да, совершил убийство, и желаю понести наказание и искупить вину. Да может тебе почудилось? Нет — запросите полицию того порта. Да мало ли кто там утоп! Нет — вяжите меня, это я убил! Хоть ты с ним тресни.

И принимается в конце концов простое и здоровое решение, которое всех должно устроить и разрядить ситуацию. Назначается психиатрическая экспертиза, и признают его добрые психиатры душевнобольным. Ослабла психика моряка от монотонной работы в замкнутом пространстве. Отсутствие земли и женщин, жаркий климат — ну и помрачился слегка. Разновидность маниакально-депрессивного психоза. На него, значит, надавил нечуткий коллектив — и он предпринял самооговор. Что вы видите на этой картинке? Ну: шизофренические фантазии.

Вызывают жену: он у вас убить может? Говорит: ни в жисть бы не подумала. А фантазировать может? Да, говорит, он у меня романтик, о душе любил рассуждать. А-а, о душе? вот видите? типичная шизофрения.

И дело прекратили, а его законопатили в психушку. И стали лечить. Он орет: я убил!! Ему бах аминазина — и ходит тихий-тихий, только слюни пускает. А, тихий, депрессия? бах ему инсулиновый шок, чтоб прыгал веселее.

Что вы думаете? Через несколько месяцев действительно вылечили. Стал он соображать, наконец, что к чему. Да: ничего не было. Да: придумал. Конечно: был болен; понимаю. А теперь лучше. Почти здоров. Да, выйти хочу, но сначала надо до конца вылечиться. Загляденье, а не больной, любо-дорого поглядеть.

12. Карьера праведника

Дома он поплакал у жены на груди и выпил водочки, чтоб полегчало. Утром еще поплакал, и потом опять выпил.

Так и повелось: утром плачет, вечером пьет. Неделю пьет, месяц пьет. А утром плачет.

Когда он проплакал свою сберкнижку, жена хватилась в доме кой-чего из украшений и одежды. Произошел разговор, и он безропотно отправился обратно в психушку и попросил его еще полечить. С ним побеседовали и сказали, что он в общем здоров, а если насчет алкоголизма, так можно пройти курс наркологического лечения. Он был на все согласен, наркологическое так наркологическое: лечите, родимые. И полечили бы, да мест не было.

Тогда они стали плакать с женой вместе, а пил он один. Потом и пить стали вдвоем. Она скоро бросила, потому что ему это не помогало, а расходы увеличились вдвое. И детей растить надо было.

С флота его, естественно, списали вчистую, и в паспорт шлепнули статью о психической болезни. С такой статьей на работу могут взять только коробочки клеить. Он клеил коробочки, а сам утром плакал, а вечером пил. И днем пил, с такими же клейщиками коробочек, как он сам. А чтоб меньше плакать, стал и с утра пить.

А жизнь есть жизнь, хотя никакая это не жизнь, а одно паскудство. И жене эта нежизнь вконец обрыдла. Конечно: одно дело — верно ждать возвращения из тюрьмы любимого мужа, очищающегося от греха, и совсем другое — жить в квартире с рехнутым плачущим алкоголиком. Дети ведь. И сама еще не старуха. Хотела сдать его в ЛТП, но все-таки пожалела. И в конце концов она с ним развелась и разменяла квартиру, воткнув его в комнату без окна в коммуналке.

Регулярно стал он наведываться к воротам порта и просить сколько-нибудь бывшему мореману на опохмел. Все знали его историю, и проходящие из рейса — а приходы он следил тщательно — отсыпали щедро: это даже вошло в ритуал. Но ритуалы, связанные с материальными затратами, раздражают людей, и со временем его стали гнать.

Недавно я видел его в сквере по Петра Лаврова, прямо рядом с Литейным. Там сидело на скамеечке рядком пять таких же ханыг.

Из углового магазина вышли трое с бутылкой и принялись озираться. Крайний со скамейки проворно встал и приблизился к ним: протянул стакан из кармана. Они выпили по очереди, и ему налили грамм сорок — за стакан. Он глотнул, поблагодарил и вернулся, передав стакан следующему, а сам сел теперь с другого края скамейки, в конец очереди, передвинувшейся, таким образом, на одного человека. И к новой компании пошел уже со стаканом следующий. Есть, оказывается, у ханыжек такая форма выпивать бесплатно.

Я никогда не вернусь в Ленинград.

Его больше не существует.

Такого города нет на карте.

Истаивает, растворяется серый вековой морок, и грязь стекает на стены дворцов и листы истеричных газет. В этом тумане мы угадывали определить пространство своей жизни, просчитывали и верили, торили путь и разбивали морды о граниты; и были, конечно, счастливы, как были счастливы в свой срок все живущие. Мы жили в особом измерении, скривленном пространстве: видели много необычного и смешного. Жили вязко и жаждали странного: вот кто куда и поперли — а кого и выдавили — дергать перья из синей птицы.

А хорошее было слово: над синью гранитных вод, над зеленью в чугунных узорах — золотой чеканный шпиль: Ленинград. Город-призрак, город-миф — он еще владеет нашей памятью и переживет ее. Сколько пито и пето с его героями, сколько грехов не смыто с рук, сколько текучих предательств и подвигов не занесено ни в какие досье, сколько утерянных сокровищ бытия отсеяно золотыми крупницами.

Время, беспечный старатель, тасует карточную колоду географии. Нас проиграли в очко уголовники в бараке.

Пробил конец эпохи, треснула и сгнула держава, и колючая проволока границ выступила из разломов. Мучительно разлепляя веки от сна, мы проснулись эмигрантами.

Это эмигрантская книга, написанная немолодым уже человеком.

Город моей юности, моей любви и надежд — канул, исчезая в Истории. Заменены имена на картах и вывесках, блестящие автомобили прут по разоренным улицам Санкт-Петербурга, и новые

поколения похвально куют богатство и карьеру за пестрыми витринами — капают по Невскому.